

МИХАИЛ СВЕТЛОВ * БЕСЕДУЕТ ПОЭТ



МИХАИЛ СВЕТЛОВ



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ М О С К В А 1 9 6 8

М И Х А И Л С В Е Т Л О В

Б Е С Е Д У Е Т П О Э Т

**Статьи,
воспоминания,
заметки**

Художник Вл. Медведев

*В книге воспроизведены изображения Пегаса
на греческих геммах и в старинных русских
книгах*



У каждого человека есть мечта: с такого-то числа я начну новую жизнь.

Человек выбирает 1-е или 15-е число какого-нибудь месяца или, чаще всего, день своего рождения.

Приходит назначенный день — жизнь не изменяется.

У поэта — своя мечта: собрать все свои стихи, издать их отдельной книгой и затем... начать писать по-новому.

Чаще всего это не удается, но я все же хочу попробовать.

1929

ИСТОЧНИК ВОЛШЕБСТВА

Три десятка лет тому назад в Днепропетровском (тогда Екатеринославском) молодежном клубе раздался громкий мальчишеский голос: «Ребята! Знаете, как мы теперь называемся?»

Мы обернулись. Это был Миша Леонов — наш делегат на всеукраинский съезд молодежи. Он только сейчас вернулся из Харькова.



Мы с огромным любопытством смотрели на него. Он медленно и торжественно произнес: «Мы теперь называемся...» И замолчал. Он умел выдержать паузу — этот семнадцатилетний парнишка. Мы сгорали от нетерпения. И наконец он произнес полностью всю фразу: «Мы теперь называемся — «Комсомол». Мы ровным счетом ничего не поняли. Мы этого слова никогда раньше не слышали. Уже через полчаса нам это слово стало близким и родным, настолько близким, что мы до конца дней с любовью пронесем его, настолько родным, что оно будто сопутствует нам с самого дня нашего рождения, но тогда... тогда мы умоляли Мишу сообщить нам секрет этого таинственного слова, и наконец он сжалился:

«Комсомол — это значит — Коммунистический союз молодежи!»

И вот прошло уже тридцать лет с тех пор, как я впервые услышал это слово. Из безусого мальчишки я успел превратиться в весьма пожилого товарища, многих из моих тогдашних друзей уже нет на свете — комсомольская школа борьбы не обходилась без жертв, кулацкие восстания в то время происходили одно за другим, гражданская война продолжалась, партия вела Комсомол через испытания к победам.

А в тот день ребята взяли с меня обещание немедленно написать торжественные стихи, посвященные Комсомолу. Я их читал на следующий день. До этого я никогда публично не выступал. Смущение мое было огромным. Я невнятно пробормотал почти все стихотворение, но к концу опомнился и прокричал, как никогда в жизни, две последние строки. Они звучали обращением к партии, и я, забыв все стихотворение, до сих пор помню эти две строки:

...И полную светлую чашу победы
Мы — юноши — вам — старикам — подадим!



Стихи были наивные, но моим молодым друзьям они казались классическими. Ведь Комсомол только родился, комсомольские поэты были на вес золота, а на весь Днепропетровск было всего три комсомольских поэта: я, ныне здравствующий поэт Михаил Голодный и погибший в Отечественную войну Александр Ясный.

Тридцать лет прошло с тех пор, как мы посвятили свои жизни Комсомолу. Эта кровная связь никогда не прервется. Тема — Комсомол, — для поэта это тема на всю жизнь. Комсомол, с достоинством носящий оружие советского воина, строящий города, ближайший помощник великой партии. Тема комсомольской юности — она всегда со мной, и я эту тему никому отдавать не собираюсь. Я могу ее только разделить с товарищами.

Но как бы там ни утешаться, а непосредственность, ясность и широко открытый взгляд на мир, свойственные Комсомолу, с годами у нас несколько притупляются. В моей работе порыв иногда заменялся пафосом, широко открытый взгляд нуждался в очках, и, как только я это замечал, я старался беспощадно изгонять это. Сердечную теплоту никогда не заменишь теплотой парового отопления.

Юность — это то волшебство, без которого наше искусство жить не может. Не надо забывать о том, уже, правда, архаическом, но необходимом для художника чувстве, которое наши классики называли вдохновением. Что-то мало мы говорим о нем. Оно и приводит к тому волшебству, которое покоряет нашего зрителя и читателя.

Комсомол — неисчерпаемый арсенал этого волшебства. И если вы хотите, чтобы на весах были уравновешены искусство и те грандиозные события, свидетелями и участниками которых мы являемся, то положите на одну чашу весов на-



Все наши желания заключаются в том, чтобы успеть. Успеть доказать следующим за нами поколениям, что мы жили не напрасно.

Что перспектива остается перспективой, что горизонт остается горизонтом, на какую бы вершину ты ни поднялся.

родную любовь, а на другую — свою непрекращающуюся юность.

Сейчас я обращаюсь к нашей молодежи. И честно признаюсь, с большой печалью вспоминаю о том времени, когда ко мне обращались как к молодому гражданину, как к молодому поэту. У меня были чудесные современники в моем ремесле. Такие замечательные наши поэты, как Маяковский и Есенин, обращались со мной, как с молодым. И вот прошло время, и я, наполненный возрастом человек, сам обращаюсь к молодежи. Границы между возрастами я так и не заметил. Что же я могу сказать молодежи? Что бы вы ни делали, чем бы ни занимались, старайтесь создать такую атмосферу, чтобы творческое состояние заняло большую часть вашей жизни. Я, к сожалению, не всегда соблюдал это необходимое правило. Соблюдай я его, я бы сделал куда больше полезного, чем сделал.

И еще одно необходимое



правило — не соблюдайте принципиальность в мелочах. Принципиальность в мелочах — это оружие обывателя. Как часто мы слышим: «Нет, это я принципиально!», а речь идет о каких-то пустяках. Принципиальность — это оружие, которое, как всякое оружие, нужно держать в чехле. Обнажать это оружие нужно только для большого сражения или для опасной разведки. Сколько мы ни знаем великих людей — это люди великой и гордой принципиальности. Годы, которые мне еще предстоит существовать рядом с вами и для вас, я и думаю посвятить этой большой принципиальности. Я очень хочу, чтобы вы поверили моим желаниям и их осуществлению.

СПУТНИКИ СЕРДЦА

Я хату покинул,
Пошел воевать.
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам
отдать.

С Митяем Стеценко мы встретились впервые бойцами Первого Екатеринославского территориального пехотного полка. Шел февраль 1918 года. В Екатеринославе (ныне Днепропетровск) царили голод и разруха. Вокруг города свирепствовали банды.

У бандитов были повадки шакалов. Они таились днем и стремились нападать только ночью. Словно чувствуя, что пришел их последний час, они дрались с обреченностью смертников. Мы ходили за ними в погоню — в ночь, в стужу, в метель — в бескрайние украинские степи. Мы теряли в боях товарищей и стояли потом в тоске невозвратимости над их могилами, а в душе росли боль, ярость, гнев.



В одной из схваток с бандитами был смертельно ранен командир отряда — человек редкостной храбрости. Некоторые бойцы совсем было пали духом. Особенно Андрей Козланюк. «Вот беда-то какая, — все повторял он, — вот беда-то! Зашли куда! Как же мы отсюда выберемся? Вот беда-то...» Иные успокаивали его, а иные молчали. Молчал и Митяй Стеценко. Он сидел у костра, углубившись в чтение какой-то маленькой растрепанной книжки, словно ничего не слыша и не замечая вокруг. Но вот он вдруг тихо, словно для себя одного, стал читать вслух ранние стихи Багрицкого, Асеева, Безыменского.

Митяй был могучий парнишка, сын сельского сапожника, веселый и яснолицый украинский хлопец. Мы никогда не знали его хмурым, словно он сам не знал, как выглядит тоска. Он картавил так, как не могут картавить, объединившись, двести евреев и французов. И тем не менее читал он хорошо. Митяй любил поэзию, особенно революционную мятежность стихов первых пролетарских поэтов. В кармане его шинели всегда можно было найти небольшую, зачитанную до дыр книжечку стихов. Где, когда и как успевал он доставать в то время книги — для нас было просто непонятно.

А Стеценко читал: он читал о победе революции, о комсомольцах, что своей судьбой «все друг на друга похожи», о строительстве, которое начнется, когда «мы — солдаты — отстоим свою винтовкой страну». Митяй говорил нам языком поэзии: «На земле идет невиданная борьба, ревет буря, свирепствует метель, неистовствует ветер старого мира, но вы, комсомольцы, вы, коммунисты, идите вперед, на бой!».

Пламя костра выхватывало из темноты изнуренные от постоянного недосыпания и голодовки лица бойцов. Затих Козланюк, мечтательно глядя в тьму ночи. Мы уже не замечали ни поношенной рыжеватой шинели Митяя, ни его по-



линявшей холщовой рубашки, ни заплатами, заскорузлых ботинок австрийского образца. Перед нами, распрямившись во весь свой огромный рост, гордо стоял прекрасный Человек.

Пламя костра горело в его глазах, оно бушевало в его груди, придавало такую силу его голосу, словно он своей пылающей речью взрывал старый мир, звал нас заглянуть в будущее, в коммунизм...

— Каким оно будет, будущее? — спрашивали мы.

— Удивительным, — отвечала устами Митяя маленькая и неприметная книжечка, но все, о чем она говорила, было прекрасно.

Для многих из нас стихи, да и само понятие «книга» явились в ту ночь великим и сказочным откровением. Мы не могли уже это забыть. Книжка стихов в невзрачной, серенькой обложке тревожила сердце, звала нас вперед, в бой до полной победы революции на нашей земле. И молча, не стовариваясь, мы признали ее — книгу первых пролетарских поэтов — полноправным бойцом полка. «Спутницей сердца» назвал ее Митяй.

Вскоре после этой замечательной ночи меня отозвали из полка на комсомольскую работу в Екатеринослав. Мы расстались с Митяем Стеценко надолго и, как мне думалось, навсегда. Но в жизни порой случаются поразительные вещи.

Прорывая новые заборы,
Тяжкие ворочая поля,
Звали мы тебя с собою,
Ты отнекивалась,
но пошла, земля.

На строительстве Днепровской гидроэлектростанции я мечтал побывать давно. Но все как-то держали в Москве всегда неотложные и всегда срочные литературные дела.



Проходили дни, недели, месяцы. А я все сидел в Москве. В конце концов я не на шутку разозлился на свою безвольность, на редакции и поэтическое «перпетуум-мобиле» и, махнув на все рукой, с первым же поездом укатил на Днепрострой.

Развернувшаяся передо мной картина стройки поразила людской отвагой, смелостью, поисками нового в трудовых буднях. По дорогам мчались грузовики. Машины вгрызались в землю, отвоевывая у нее пласт за пластом. Машины замесивали бетон.

Целыми днями я бродил по строительству, оглушенный грохотом, скрежетом, гулом — машинной симфонией. Земля кипела людьми. Пламенели лозунги: «Пятилетку — в четыре года». Каждый день приносил новое, удивительное. Люди обгоняли время. Газеты пестрели сообщениями: «Монтаж первой турбины на Днепрострое вместо 90 дней по плану осуществлен за 36 дней», «Передовые бригады Днепростроя установили мировой рекорд кладки бетона...» Люди росли — вчерашние землекопы, бетонщики, чернорабочие становились мастерами, техниками, инженерами.

Молодость пришла на стройку. И я считал себя самым старым здесь комсомольцем. Но вот случилось такое...

Я проснулся от голосов, что раздавались за дощатой стенкой комнатенки. Говорил все больше чей-то знакомо картававший голос:

— Что значит оставить природу в покое? А вы знаете, как нужна нам сейчас речная энергия? Это — свет. А что говорит Ленин? Вспомните: «Если Россия покроется густой сетью электрических станций и мощных технических сооружений, то наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии».



Наступило молчание. Слышно, как человек что-то доставал, потом зашелестели страницы и вновь раздался знакомый голос:

— Вот в этой книге Ленина его речь на Восьмом Всероссийском съезде Советов. Прочтите. Здесь много и других статей, которые тоже прочтите повнимательней. В этой книге Владимира Ильича вы найдете и вторую программу Коммунистической партии — план ГОЭЛРО.

И опять молчание. «Знакомый голос», по-видимому, провожал гостя, но вот он просительно как-то сказал:

— Берегите книгу. Она очень дорога мне. Это — спутница моего сердца.

Я вскочил. Спутница сердца? Молнией обожгла мысль — Митяй?! Через секунду я уже обнимал старо друга. Мы вспомнили с ним прошлое и конечно же первую для многих из нас книжку стихов. Оказалось, она и сейчас путешествует в чемоданчике инженера-строителя

В молодости смотришь в будущее, как в бинокль. Все увеличено, все кажется более близким. Ты стоишь перед миром приобретений и вовсе не думаешь о потехах, которые приносит с собою старость.

Но вот проходит время, и ты, незаметно для себя, поворачиваешь бинокль в обратную сторону и видишь теперь молодость свою в большом отдалении значительно преуменьшенной. И все, что ты видишь теперь, пусть даже в четком, но отдаленном пространстве, называется воспоминаниями.

Мне, вспоминая, не стоит труда определить главную черту комсомольцев моего поколения. Эта главная черта — влюбленность. Влюбленность в бой, когда родина в опасности, и влюбленность в труд при созидании нового мира, влюбленность в девушку, с мечтой сделать ее спутницей всей своей жизни, и, наконец, влюбленность в поэзию и искусство, которые ты тоже никогда не покинешь.

Я был влюблен в поэзию с первого же дня своего вступления в Комсомол. Не знаю, нашла ли во мне поэзия достойного спутника жизни, но я ей до сих пор верен, как верен ей весь влюбленный в нее Комсомол, ничуть не постаревший и так же устремленный в будущее...



вместе с ее хозяином. Они уже побывали на шахтах Донбасса, на восстановлении городов Украины и вот — Днепро-строй.

— Сегодня у меня новые спутницы сердца, — улыбается Митяй, — книги Ленина, и особенно его статьи об электрификации и индустриализации страны. И знаешь, сочинения Владимира Ильича ассоциируются у меня со светом, который мы дадим стране. Сегодня книги Ленина стучат в мое сердце, не давая уставать, успокаиваться, они зовут меня в будущее...

Голос Митяя зазвучал так же вдохновенно, как в ту далекую ночь у костра. Сам он сидел передо мной вновь молодой, юный, весь устремленный вперед. И я тоже не казался уже самому себе старым комсомольцем. Я чувствовал себя комсомольским поэтом фронта пятилеток.

Вскоре мы опять расстались с Митяем, и снова я долго ничего о нем не слышал.

Ночь непрекращающихся взрывов,
Утро, приносящее бои,
Комсомольцы первого призыва —
Первые товарищи мои!

Из поездки по Дальнему Востоку вернулась группа писателей. Они рассказывали о новостройках, рыбных комбинатах, о цифрах перевыполнения пятилетнего плана, цифрах, что перестали быть просто цифрами («Сердце идей вложено в цифры обычного ряда»), о людях («Десять людей — это десять людей? Нет! Это, кроме того, — и бригада!»)¹.

Волнуясь, рассказывали они о городе юности — Комсо-

¹ А. Б е з ы м е н с к и й. Арифметика революции.



мольске-на-Амуре, о чудесных строителях этого города.

— Разные они все,— говорит мой товарищ,— но всех их, старых и молодых, объединяет удивительная влюбленность в свой край, в дело, «которому они служат». И знаешь, познакомился я с интереснейшим человеком. Инженер-строитель, представительный такой мужчина. Седые волосы. Но он загорался, как юноша, когда рассказывал о природных богатствах края, о том, сколько сокровищ, нужных народу, скрывает еще богатейшая дальневосточная земля.

Мой товарищ помолчал. Задумался, вспоминая. Потом продолжал:

— Этот человек вдохновенно любит природу. Однажды мы были застигнуты с ним в тайге грозой. Ветер налетал бешеными порывами. Буря с грохотом валила огромные деревья; беспрестанно сверкали молнии. «А ведь красота-то какая! А?!» — крикнул он мне на ухо. С него (как, впрочем, и с меня) ручьями текла вода,

Идея — это океан. И как только делаешь из нее бассейн для домашних потребностей, вода сразу мутнеет. Куда идешь? Для чего живешь? Не считаешь ли ты тропиночку главной дорогой? Стоит только одной параллельной линии хотя бы на одну сотую миллиметра отклониться от другой, через некоторое время между линиями появляется страшное расстояние. Идея — параллельна жизни. Не допускайте, чтобы они отклонились друг от друга.



и он весь дрожал от холода, но глаза его горели воодушевлением и искренним восторгом.

Потом мы сидели у него дома и, обжигаясь кипятком из алюминиевых кружек, говорили, говорили... Он рассказывал много и хорошо о знаменитых русских путешественниках по дальневосточному краю — Пржевальском и Арсеньеве, особенно тепло — об их книгах.

Я понял, что книги занимают значительное место в его жизни. О них он мог говорить часами. Вот сейчас он зачитывается «Путешествием в Уссурийском крае» Пржевальского и «Сквозь тайгу» Арсеньева. По карте края, висевшей над кроватью, я увидел, что этот инженер не только читает, но настойчиво и внимательно вычерчивает на ней их маршруты. «Богатства дальневосточного края, — говорил мне этот человек, — должны принадлежать народу. Придет время, и там, где шумит тайга, где скалистые сопки, вырастут новые города и села. Проложат железную дорогу. Пойдут поезда...»

На тумбочке у стены высилась стопка книг — томик Ленина, книги Потанина, Пржевальского, Гумбольдта, Арсеньева. «Надо читать, — сказал он, заметив мой взгляд. — Чтобы знать край, его будущее, надо много читать. Вот они, — кивнул инженер в сторону книг, — не только мои советчики и друзья. Это — спутники сердца».

Спутники сердца? Так вот где повстречались мы с тобой, Митяй Стеценко!

К сожалению, больше я не слышал о нем. Но уверен, что не ошибусь, если скажу: Дмитрий Остапович Стеценко и сейчас всегда на переднем крае — на Братской или Красноярской ГЭС, на строительстве железной дороги Абакан — Тайшет, а может быть, на целине, — я знаю, Митяй там, где сегодня возводится коммунизм. И я знаю, он не подведет.



тель Бибик; в Днепропетровске впервые взяли за перо поэты Михаил Голодный, Ал. Ясный, Ан. Кудрейко и другие; здесь делал первые шаги в литературе житель села Ломовка — прекрасный украинский писатель Олесь Гончар; Вл. Вл. Маяковский неоднократно посещал Днепропетровск и любил выступать перед рабочей аудиторией нашего города, закаленного в горниле революционных боев, овейного ветрами гражданских бурь...

Некогда на завалинке дома по Артемовской улице, вечерами, можно было наблюдать такую картину: седоголовые печники, веселые сапожники, сутулые портные внимательно слушали художавого паренька с горящими глазами, временами реагируя выразительной жестикуляцией южан на взволнованный рассказ пятнадцатилетнего ученика слесаря о великой роли Владимира Ильича Ленина в деле борьбы за человеческое счастье. Это был Саша Ясный (Александр Яновский)... Шел девятнадцатый год. По широким аллеям знаменитого Екатерининского проспекта (проспект им. К. Маркса) деревянным шагом расхаживали серо-зеленые кичливые прусские ландскнехты.

В сердце подростка закипел горячий гнев: злобные прищельцы с чужой лающей речью убили старшего брата в степи под зеленым Николаевом... Впоследствии выпелись строки о рыжеволосом брате, чьи «постукивают под курганом кости».

В ту пору Саша писать стихов еще не умел: молчаливо мучал, исподлобья всматривался в еще живой затхлый мирок мещан и торгашей; учился ненавидеть; вспоминал замученного в Лодзинской тюрьме отца; учился упорству, вбивая тяжелые булыжники на место старой деревянной панели; начинал любить труд и знал множество профессий.

В предисловии к последней своей книге «Ветер в лицо»



Ясный писал: «Когда ветер в лицо, поэт может сбиться с голоса. Но, сбиваясь, он учится находить, а не терять прямую дорогу, а ветру я обязан многим — упорству».

От кривоулочья, лабазов, тошнотворно-приторной герани спас ветер времени. Жизнь обернулась другой — светлой — стороной, когда Александр впервые услышал задорную комсомольскую песню.

Он окунулся в новую жизнь с той жадной радостью, которая была присуща его веселому и яростному сердцу.

Губком комсомола. Пролеткульт. Агитпоезд. Редакторство в комсомольской газете «Грядущая смена».

Я вливаю в стихи по капле
Мою комсомольскую радость.

Это не было декларацией; еще меньше — позой; признание искреннего сердца! Внутренняя успокоенность была чужда юному мастеровому. Он строил новый мир, свою «всам-

Самое большое счастье для писателя — если его произведения станут знаменем поколения. Но если и его жизнь становится таким же знаменем поколения, то и самый образ писателя становится близким и родным многим людям.



делишную сказку». Все, что было помехой, нужно было сокрушить. Неспроста он

На шинельку, на наган из Тулы
Променял певучий молоток.

На Украине бесчинствовали банды. «Атаманы» всяческих мастей — зеленые, тютюнкики, маруськи, ангелы, совы. Все они вставляли палки в колеса молодой советской власти. Перепоясавшись ремнем, Саша Ясный рыскал на коне по лесам и степям, выкуривая бандитов. Он не боялся смотреть опасности в глаза...

...Белый губернаторский дом. Когда-то здесь жили — высокомерный остзеец граф Келлер, жестокий князь Святополк-Мирский — сиятельный покровитель мракобесов из так называемого «Союза русского народа». Здесь, в саду, у белой огады, продырявленной гайдамацкими пулями, в далекие двадцатые годы собиралась первая рабочая литературная группа «Молодая кузница». Спустя немного времени в журнале одноименного названия стали появляться и стихи Александра Ясного, одного из зачинателей рабочей комсомольской поэзии.

В этой поэзии не было салонной красоты и туманной мистики символистов и модных акмеистов: ненависть к старому прогнившему миру, презрение к сытой барской жизни, неисчерпаемая вера в грядущее счастье человечества. Рабочий паренек в кепке, с хрипотцой в голосе клеймил тех, кто украл право на счастье у людей, чьи лица, по выражению Маяковского, были «от копоты в оспе».

В разговорно-обиходной интонации молодого поэта явственно звучал голос борьбы за новые нормы эстетики, за новое искусство революции.



Гром побил бы вас, скверные люди,
Вас лепили, как видно, из теста...

Всю свою молодую ярость обрушил Ясный на этих людей
в бесхитростных и подчас наивных строках:

Им бы кожу живьем с костей
Разделявать под портфели,
Чтоб где-то в Чикаго среди гостей
Бахвалился какой-нибудь Рокфеллер.

Короткие колючие стихи из сборников «Камень», «Ухабы» напоминают звенящие металлические стружки. В них слышится пулеметная скороговорка и кавалерийский цокот дней гражданской войны, пафос освобожденного труда, стук беспокойного сердца. Но иногда сжатые и жесткие строки озаряются теплым лучом скупой улыбки; его стих «с огнем вперегонки скачет», звезды у него «бесятся и дразнятся», станки «как мальчишки сошли с ума по воле». Все чаяния Ясного проникнуты несокрушимой верой в правоту отцовского завета — «большевичить крепко». И «большевичит» он не только в стихах, но и шагая по жизни. Агитатор и культработник, газетчик и воин, он убедительно формулирует свое отношение к действительности в стихотворении «Варшава»:

Суровы дни,
Но веселей их
Нам не найти в потоке лет,
Как не найти нам на земле
Страну, моей страны милее.
И пусть!..
Еще прямей и злей,
Еще упрямей и железней,
С веселой и железной песней
Стоим на вздрогнувшей земле.



Поэт бывает разным. Он может быть и трибуном и собеседником.

В те далекие и суровые годы из всех уголков страны — из снежного Архангельска и угольных шахт Донбасса, из Закавказья и с Украины — тянулась к сердцу родины, в столицу, в Москву, к истокам знаний — молодежь. Багажу только и было: комсомольский билет да вера в великое дело. Приезжали ребята в стоптанных сапогах и кожанках, приносили в редакции комсомольских газет и журналов заветные тетрадки и блокноты; было в них — и короткий опыт революции, и житье-бытье комсомола.

В 1925 году Центральный Комитет комсомола посылает Ясного в незнакомую многомиллионную Москву. Начинается первый этап жизни — учеба, знакомство с литературной средой. Рабфак. Литературный факультет МГУ. Неугомонный Саша, поэт-непоседа, всей душой, как он это умел делать, отдается ответственной партийной работе. Он замещает редактора журнала ЦК ВЛКСМ «Культпоход»,



проводит огромную организационную работу, направленную на ликвидацию неграмотности в стране, выезжает для этой цели в промышленные города и районы. Не наблюдателем, а деятельным строителем приходит он на стройки и заводы Иванова и Новосибирска. Примечательно, что до самого начала Отечественной войны поэт работает в редакции журнала «Индустрия социализма», отдавая свой журналистский и партийный опыт любимому детищу, борясь с казенщиной, стараясь сделать журнал интересным и нужным народу.

Ревностный труженик, завзятый спорщик, добрый товарищ, Саша Ясный одновременно продолжает скромное дело своей поэзии. Выходят его новые сборники — «Шаг», «Ветер в лицо» и другие. Он по-прежнему борется с притаившимся мещанином («Пряатель», «День будний»), которого «сгубило злато... халат полосатый...», пишет о «республике-земле, которая плывет счастливой и богатой», призы-

**Для того чтобы все замечать,
надо самому быть незаметным.**



вает современника петь, «покуда кровь из горла брызнет», горячо и искренне радуется успехам индустриализации страны:

...как я хочу,
Чтоб здесь цвело
И липой и сиренью,
Чтоб это бывшее село
С конца в конец пересекло
Неимоверное гуденье
Машин, недуманных еще,
Станков, невиданных доньше...

(«Иваново-Вознесенск»)

Идеал для каждого стихотворения — стать очень интересным письмом к читателям.

Интернациональная тема, тема борьбы двух миров — двух социальных систем — в творчестве Ясного занимает особое место. Стоит хотя бы припомнить такие его стихи, как «Мама и мотор», «Обыкновенная история», большой раздел в последней книге поэта — «Уэльские песни». В этих простых, несколько шершавых стихах, проникнутых иронией и сознанием превосходства свободного человека нашей родины, как в капле воды отразился пестрый мир общественного развития страны, «где доллары и виски», где умы ли-



хорадит гнусная практика колонизаторов-лицемеров. Написанные два десятка лет назад, «Уэльские песни» «не постарели» не потому, что они особенно остры по мастерству или занимательны по сюжету, а прежде всего потому, что они современные.

Вот, например, стихотворение «Встреча». В основу его легла тема интервенции, которую осуществляли представители Антанты, прибывшие на французском крейсере в 1918 году в Одессу; однако, увидев впервые берег свободной страны, вольнолюбивые «лихие гасконцы» попросту дезертировали с корабля; и вот мы уже видим их марширующими по улицам Одессы с «пунцовым флагом». Встрече с одним из этих моряков — с Шарлем, которая произошла на улицах столицы трудящегося человечества, и посвящено стихотворение. Оно — словно отзвук событий, в которых ожил неумирающий дух веселой вольнолюбивой Франции!

Едва ли известны шахтеру, не разгибающему спины в мрачной шахте далекого Уэльса, горькие и сердечные стихи русского поэта, воспевшего его безрадостную судьбу!

В уэльских шахтах горняки непосильным бессонным трудом добывают уголь. Последний нужен заводам, где выплавляют сталь для оружия, в то время как братья этих шахтеров отливают прочные замки. Узнав об этом, уэльский горняк, измученный каторжным трудом, обращается к владельцу шахты:

Пусть добывает тебе твой сын
Уголь из шахт и шипучий бензин,
Пусть попробует маргарин
Дочь твоя и твой сын...

Гневный протест шахтера не проходит для него даром: его заключают в тюрьму, камеру которой замыкают уже упомя-



нутыми выше замками. Так в «свободной» Англии расправляются с правдой:

За то, что руки мои куют,
За мой пот и за мой труд,
Тройным замком меня замкнут
И руки закуют!..

В стихотворном памфлете повествуется о некоем Стоне — ставленнике, по выражению В. Маяковского, «капитала — его премохабия», который запрещает английским морякам петь их любимую песню о порте Бомбей, где «полно полисменов» и «судьи, как совы», об ирландце Бейне, которого за честный протест заключили в тюрьму, за «хмурую дверь». Написанное очень энергично, стихотворение-памфлет ярко рисует подлинные нравы империализма с его лицемерием, ханжеством, мифическими «свободами».

Начало Великой Отечественной войны Ясный встречает в рядах Советской Армии, куда вступил по велению сердца. Его назначают в редакцию армейской газеты МВО — «Красный воин», где он последовательно занимает должность начальника отдела информации, боевой подготовки, ответственного секретаря, заместителя редактора, неоднократно выезжая для выполнения заданий Главного политического управления на различные фронты. Его самоотверженная работа не раз отмечается.

Но по мере того как Москва становится тылом, поэт начинает рваться в действующую армию; жгучая ненависть к исконному врагу, с которым у Саши Ясного были свои старые счеты, призывает его: это он — пришелец в серо-зеленой шинели и в железной каске — некогда замучил его любимого брата!



Внукам моим, как и мне,
Не позабыть,
Не простить их...

Ясный, не раз поднимавший боевое оружие в защиту отечества, знающий отлично, какую силу таит «взмах клинка, щелк курка», начинает «атаковать» Политуправление, добиваясь откомандирования на фронт. Его посылают на Ленинградский фронт, но вскоре снова отзывают в Москву. Только в 1944 году, после многочисленных рапортов, поэт добивается отправки на Украинский фронт, в распоряжение дивизии. В письме к близким он с радостью пишет: «Наконец-то я добился того, что хотел... Очень рад, что, наконец, на настоящем фронте. Здесь все по-другому, не так, как в Москве... Я никогда не ощущал такой ответственности, как сейчас...»

Здесь, в боевой обстановке, где блиндаж или придорожный пенек служил кабинетом военного корреспондента, где жизнь писателя-фронтовика протекала между передним

По поэзии нужно блуждать, как по незнакомому городу, где за каждым углом тебя ждет радостная неожиданность. И родина этих неожиданностей вовсе не желание во что бы то ни стало быть оригинальным (вот я какой), а неугасимое стремление общаться с людьми и любовь к ним.



краем и огневыми позициями артиллерии, Александр Ясный работал, как обычно — добросовестно и самоотверженно. Его негромкий голос звучал в передовых статьях, очерках, стихах, корреспонденциях: война учила всему. Она стала бытом. Поэт общей жизнью с бойцами зарабатывал право от первого лица говорить обо всем, что способствовало «приходу праздника человечества». В одном из писем жене Саша Ясный с добродушным юмором, бодро и по-деловому писал: «В то время, когда я пишу эти строки, над нами летают вражеские самолеты. Но я боюсь не ранения, а опечаток в газете...»

В ранних стихах поэта есть место, звучащее почти как предвидение:

И за весну, под барабанный бой,
Паду с раздробленною головой
Я где-нибудь на Фридрихштрассе...

На чужой земле, у реки Одер, в Гросс-Раудене, есть могила. Она выросла накануне великого Дня Победы. Поклонись ей, прохожий: здесь спит скромный советский поэт, человек мужественного сердца, Александр Ясный!

ИСТОРИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Воспоминание цепляется за воспоминание, и, боюсь, эта цепная реакция помешает строгости и стройности моего рассказа. Но это не страшно. Беседа всегда лучше доклада.

Это было в двадцать шестом году. МАПП, РАПП — давно пройденный этап (простите за невольную рифму). Нам беш-



но доказывали преимущества пролетарской литературы (потом оказалось, что ее вообще не существует). «Леф» дрался с «На посту», Маяковский с переменным успехом боролся с Авербахом; Луначарский, безмерно любивший литературу и искусство, старался быть арбитром, но редко что у него получалось — бизоны не поддавались дрессировке.

В двадцать третьем году три молодых поэта — Михаил Голдный, Александр Ясный и я, приехав с Украины, сразу попали в такую обстановку. Советская литература тогда еще только начиналась, и мы были нарасхват, — когда нет золота, хватается за бронзу.

Мы прямо с вокзала, не успев помыться, нырнули в РАПП. Поплавали, и нам показалось, что вода больше горькая, чем соленая. А в такой воде киты не плавают.

Мне сейчас хочется рассказать не только о том, как я впервые напечатал «Гренаду», но и о том, как я вообще впервые напечатался. Но до этого напечатался мой друг-одноклассник — Николай Коробков. Сейчас я расскажу, как это было.

В студеную пору 1917 года я накатал стихотворение. В нем, точно помню, было шестнадцать строк. Первая строка была такой:

Войско храбро наступает...

Остальные строки забыты, но они были несколько не лучше. Ко мне пришел Коля Коробков, и я ему прочел свое первое творение. Он собирался пробыть у меня весь вечер, но мгновенно исчез. На следующее утро он явился и также поделился со мной своим первым опусом. В нем было свыше четырехсот строк. Я терпеливо выслушал и, еще не будучи опытным литератором, сразу понял, что из него поэта никогда не получится. Если я по наивности своей рифмовал,



скажем, «канарейка» и «соловейка», то он, будучи природным новатором, беззастенчиво рифмовал «ангел» и «корова».

(Сейчас Николай Коробков работает на Алтае. Пусть он не рассердится на меня за эти мои строки. Как мы подружились с ним с первого класса, так дружим и теперь.)

И вот, представьте, Коля напечатался первым. Наши соседки — мадам Гринберг, мадам Сомовская и мадам Шленская — смотрели на меня с великим сожалением: «Ну, куда ты лезешь? Вот Коля — это талант! А ты?» Не буду больше вспоминать об этом тяжелом для меня времени.

Но вот и я напечатался. Я ежедневно бегал на угол, где продавал газеты Мотька — газетчик с перебитым носом. Вряд ли ему нос разбили в драке. Он был очень смирным человеком. Вряд ли спьяну, потому что он не пил. Вероятно, он просто споткнулся, что иногда случается с тихими евреями.

Брат Мотьки был эстрадником, и Мотька этим страшно гордился. Брат работает в искусстве! Слышал я однажды его брата. Это был далеко не Чарли Чаплин, и вряд ли его приняла бы в свои ряды наша Мосэстрада.

И вот однажды, просматривая газету (не покупая ее, а разворачивая перед Мотькой), я увидел в ней свою фамилию. Стихотворение называлось «Матери». Но боже мой, там не было ни одного моего слова. Там были, если можно так выразиться, только мои знаки препинания. Очевидно, редактор, сам мечтая стать популярным поэтом, все же не решился предстать перед читателем. Тут я и пригодился.

Прошу извинения, но я ударился в воспоминания. Прошел уже тридцать один год с того времени, когда я написал «Гренаду», и сорок лет с того времени, как я впервые напечатался. И поэтому я расскажу не только о том как я написал



«Гренаду», как я впервые напечатался, но и о том, как я впервые выступил на трибуне.

Я был первым редактором первого на Украине комсомольского журнала «Юный пролетарий». Туда ко мне и пришли Голодный и Ясный. Мы познакомились, подружились и решили устроить литературный вечер.

Народу в клубе собралось уйма. Голодный и Ясный читали довольно спокойно. А когда я вышел на трибуну, я оробел. И вдруг я услышал подбадривающие крики: «Давай, Мишка, погромче!» А я уже приблизился к последней строфе, и я прокричал ее так, как, наверно, уже никогда в жизни кричать не буду. Была овация.

Вернусь к основной теме своего рассказа.

В двадцать шестом году, как я уже говорил, молодежь всячески протестовала против так называемой «казенной» поэзии. Однажды днем я проходил мимо кино «Арс» (там теперь помещается театр имени Станиславского). В глубине двора я увидел вывеску: «Гостиница «Гренада». И у меня появилась шальная мысль: дай-ка я, назло Авербаху, напишу какую-нибудь серенаду из жизни испанских грандов. Я уже мысленно читал абзацы журнальных и газетных столбцов: «Светлову, как видно, надоела наша советская действительность, и он обращает свои взоры в сторону испанской буржуазии. Тов. Светлова нам, конечно, терять не хочется, но если испанский империализм так уж вам по душе, то — скатертью дорожка, гражданин Светлов!»

Несмотря на такую ужасающую перспективу, я продолжал напевать.

Но в трамвае по дороге домой я пожалел истратить такое редкое слово на пустяки. Подходя к дому, я начал напевать: «Гренада, Гренада...» Кто может так напевать? Не испанец же? Это было бы слишком примитивно. Тогда кто же? Когда



Если я сяду за стол с желанием написать что-то такое высокоидейное, я или ничего не напишу, или напишу что-то очень плохое. Я обязан видеть, чтобы это увиденное возможно более точно передать читателю. Я не могу изобразить идею. Я хочу и, кажется, могу изобразить человека, несущего эту идею. Даже если я описываю простой булыжник, он обязательно должен быть одушевленным. Для меня нет предмета без души.

я открыл дверь, я уже знал, кто так будет петь. Да конечно же мой родной украинский хлопец. Стихотворение было уже фактически готово, его оставалось только написать, что я и сделал.

Я часто думаю — каким образом происходит процесс творчества? И эти думы мне очень мешают — я начинаю констатировать, вместо того чтобы чувствовать: вот я радуюсь, вот я печалюсь, вот я люблю, и через час будет готово стихотворение. Это может привести к полной гибели твоей как поэта.

После многих лет, исследуя свое тогдашнее состояние, я понимаю, что во мне накопилось к тому времени большое чувство интернационализма. Я по-боевому общался и с русскими, и с китайцами, и с латышами, и с людьми других национальностей. Нас объединило участие в гражданской войне. Надо было только включить первую скорость, и мой интернационализм пришел в движение.



Значит, главная гарантия успеха твоего будущего сочинения — это накопление чувств и, значит, твоего отношения к действительности. Если ты хочешь как поэт принести пользу людям, то ты можешь это сделать, только «размозолев от брожения», как сказал Маяковский.

Чего надо бояться в нашем деле? Надо бояться таблицы умножения. То, что девятью девять — восемьдесят один, — не ты сочинил. Любить родину — не твоя идея. А вот как ее любить, ты должен сообщить людям. Ты должен не повторять патриотизм, а продолжать его. Иначе ты будешь похож на человека, который изобрел деревянный велосипед, не зная, что уже есть металлические.

Теперь, прожив и проработав уже много лет, я понял, что нажатием маленькой кнопки можно привести в действие большой механизм. Был бы механизм, а кнопка всегда найдется. Казалось бы, пустяковая вывеска на гостинице,

Не давайте в стихах таблицы умножения человеческих отношений.



Фантазия нуждается в подробностях. Фантазия без подробностей — это теория без практики.

Кто-то из вас сказал, что в стихотворении есть одна хорошая строка... Дайте мне шестьдесят комнат, я буду жить в одной. Но это не стихотворение, если я буду жить в одной строке.

но она заслонила все остальное, что я сделал. И я очень советую молодым поэтам: если у тебя нет душевного накопления, не иди к людям — побудь один.

И вот мой хлопец из «Гренады» все еще жив. В прошлом году мы справляли тридцатилетие со дня его рождения.

Вот уже много лет ко мне приходит эхо «Гренады». Оно возвращается из Китая, из Франции, из Польши, из других стран. В этом, конечно, заключается большое счастье, но есть и ощущение горечи. Неужели же я — автор только одного стихотворения? Хочется думать, что это не так. Но даже если это и так, то можно прийти и к другому отрадному для меня выводу. Если считать, что в нашем Союзе писателей находится не меньше тысячи поэтов и если бы каждый из них написал хотя бы по одному нужному людям стихотворению, то мы бы уже давно обогнали лучший в литературе девятнадцатый век.



И еще один мой совет молодому поэту — не пропускай мимо ни одного прохожего. Обязательно заговори с ним! И он обрадуется, и ты как поэт обогатишься.

И еще один совет — не старайся петь басом, если у тебя нет баса. Вот у Маяковского был бас, и я никогда не подражал ему. У меня, видимо, меццо-сопрано.

Ну, если я уж начал советовать, то меня не остановишь.

Никакого мотора в поэзии еще не выдуманно. Ты можешь плыть только на парусах, и эти паруса должны быть направлены обязательно против ветра. И поэтому меня очень огорчает желание многих молодых поэтов напечататься, а не стать поэтами. Никого и ничего не бойтесь! Если твоя жизнь, твой труд — не подвиг, то как же ты можешь звать к подвигу?

Я в своей дальнейшей работе понял, что так называемый «метод физического действия» применим не только в театре, но и в поэзии. Можно добиться вдохновения, не покорно дожидаясь его. Скажем, вы набрали на слово, редко встречающееся в стихах. И вы начинаете размышлять — с каким событием в вашей жизни, с чем узанным, пережитым сочетается это слово? Не сочетается? Выбрасывайте. Ищите еще.

Однажды я остановился на слове «ангел». Его давно в поэзии не было. Мне захотелось, чтобы мистика послужила совсем не мистическому стихотворению. Значит, мне надо придумать каких-то особых ангелов. Вот вам и готовая строка:

Ангелы, придуманные мной...

И сейчас же последовала вторая:

Снова посетили шар земной...



То же самое я могу сказать и о рифме. Рифма страшна только начинающему поэту, а зрелому она первый помощник.

Но возвращаюсь к «Гренаде».

Стихотворение, скажу прямо, мне очень понравилось. Я с пылу с жару побежал в «Красную новь». В приемной у редактора — Александра Константиновича Воронского — застал Есенина и Багрицкого. С Есениным я не был коротко знаком, но Багрицкому я тотчас же протянул стихи и жадно глядел на него, ожидая восторга. Но восторга не было.

— Ничего! — сказал он.

Воронского «Гренада» также не потрясла.

— Хорошо. Я их, может быть, напечатаю в августе.

А был май, и у меня не было ни копейки. И я, как борзая, помчался по редакциям. Везде одно и то же. И только старейший журнальный работник А. Ступникер, служивший тогда в журнале «Октябрь», взмолился:

— Миша! Стихи великолепные, но в редакции нет ни копейки. Умоляю тебя подождать!

Но где там ждать!

Я помчался к Иосифу Уткину. Он тогда заведовал «Литературной страницей» в «Комсомольской правде». Он тоже сказал: «Ничего!», но стихи напечатал. Прошло некоторое время. И вдобавок (горе мое!) мне уплатили не по полтиннику за строку, как обычно, а по сорок копеек. И когда я пришел объясняться, мне строго сказали: «Светлов может писать лучше!»

Как-то Семен Кирсанов прочел «Гренаду». Она ему очень понравилась. Он побежал с ней к Маяковскому. Маяковский бурно не реагировал, но оставил стихи у себя.

Через несколько дней состоялся его вечер в Политехническом музее. Зал был переполнен. Я долго стоял, очень



устал и отправился домой, не дождавшись конца. А вернувшийся позже сосед сказал мне:

— Чего ж ты ушел? Маяковский читал наизусть твою «Гренаду»!

А потом он читал ее во многих городах. Мы с ним тесно познакомились. Но это уже отдельная тема — разговор о бесконечно дорогом мне поэте и человеке.

Такова, насколько я помню, история моего стихотворения.

1957

ЧТО МЕНЯ ПОВУДИЛО НАПИСАТЬ «ГРЕНАДУ»

Однажды Маяковский, улыбаясь, сказал мне: «Светлов! Что бы я ни написал, все равно все возвращаются к моему «Облаку в штанах». Боюсь, что с вами и с вашей «Гренадой» произойдет то же самое!»

Это были пророческие слова. Кто бы со мной ни познакомился, обязательно скажет: «А, Светлов! Гренада!» Становится несколько обидно: выходит, что за сорок лет своей литературной деятельности я написал только одно стихотворение.

Думаю все же, что это не так. Но доказывать как-то не хочется.

Тема международного братства в наши дни стала куда шире, чем в то время, когда я написал «Гренаду». Тема стала жизнью. Социализм из орленка вырос в орла. Глобус все больше и больше покрывается красным цветом братского знамени. И конечно, каждому поэту хочется, чтобы на этом знамени была выткана хоть одна его — поэта — ниточка.

И когда комсомольцы смотрят на меня с уважением к моей наступающей старости, мне хочется крикнуть на всю все-



ленную: «Товарищи! Я еще что-нибудь напишу, кроме «Гренады!»»

Мне недавно прислали из Парижа пластинку. На ней озвучена «Гренада». Прекрасна музыка, сочиненная композитором на слова моей песни, хорошо исполняет ее певец. Почему все так хорошо получилось? Сблизились народы, сблизились сердца, и, следовательно, сблизилось искусство. Если в двадцатых годах бесконечно дорогой мне парнишка ездил верхом по Украине и пел международную песню, то сколько же их сейчас — этих влюбленных в справедливость парнишек — и в Болгарии, и в Румынии, и в Польше, и в других странах молодого социализма!

На одном собрании меня спросили: «Что же вас все-таки побудило написать «Гренаду»?» И кто-то шутя добавил: «Ведь у вас в Испании нет никаких родственников».

Ответ очень простой: советская власть побудила.

У нас часто происходит так.

Если поэт в каждом своем стихотворении будет упоминать Сталинград и говорить о своей однообразной любви к нему, то в таких стихах мы вряд ли увидим город-герой во всем его величии. Скучное повторение способно обеднить любой образ.



Молодой поэт едет на целину и тут же дует поэму о целине, едет на Магнитку — и тут же перед потрясенным читателем стихи о Магнитке. Но поэмы эти и стихи никого не трогают. Почему это происходит? Потому что чувства еще не накопились. Нельзя мир ощущать только зрением, только слухом или только обонянием. Нужна мобилизация всех чувств для того, чтобы написать хотя бы только одно стихотворение.

Есть непреложный закон творчества — накопление чувств. И никогда не следует забывать об этом.

Мне далеко до полного заката!
Так много видевший,
уже немолодой,
Я так хочу, чтоб чувства,
как солдаты,
В моей душе не покидали
строй!

1958

ЗАМЕТКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ

Моя культурная жизнь началась с того дня, когда отец приволок в дом огромный мешок с разрозненными томами сочинений наших классиков. Все это добро вместе с мешком стоило рубль шестьдесят копеек.

Отец вовсе не собирался создавать публичную библиотеку. Дело в том, что моя мать славилась на весь Екатеринослав искусством жарить семечки. Книги предназначались на кульки. Я добился, что книги пойдут на кульки только после того, как я их прочту. Тогда я узнал, что Пушкин и Лермонтов погибли на дуэли. И еще меня поразило слово «секундант», я был убежден, что это часовщик, в совершенстве владеющий секундными стрелками...



Тотчас же по прочтении всех книг я засел за собственный роман. Он был написан в два часа и занимал две с половиной страницы, хотя я старался писать крупными буквами. И сейчас помню название этого романа: «Ольга Мифузорица». Героиня недолго мучилась: она умерла на третьей странице.

Я читал свой роман вслух, и сестра смотрела на меня с восхищением: приятно, когда в родной семье обнаруживается гений...

В 1919 году я впервые в жизни вступил в должность: меня назначили заведующим отделом печати Екатеринославского губкома КСМУ. Мы решили издавать первый на Украине комсомольский журнал «Юный пролетарий». Но журнал, как известно, должен печататься на бумаге. С трудом мы раздобыли конвертную. На ней шрифт был еле различим. Несколько номеров хоть и со скрипом, но все же вышли в свет.

В то время ко мне, шестнадцатилетнему редактору, пришли со своими стихами два паренька с Александровской улицы: Михаил Голодный и Александр Ясный. В нашей комсомольской организации я был единственным поэтом, теперь нас стало трое.

«Я считаю, что мы пишем не хуже, чем наши столичные поэты. Надо ехать в Харьков», — как-то сказал Михаил Голодный. Сказал — и уехал и вскоре стал одним из самых популярнейших поэтов на Украине.

Переехал в Харьков и я. Здесь в двадцать втором году была издана первая книга моих стихов «Рельсы». Очень смешное и трогательное впечатление она сейчас производит. Никто из нас тогда не имел ясного представления о задачах своей профессии. И поэтому мы писали черт знает как. Нам казалось, что чем замысловатей стихи, тем они художественней. Да и культура наша была слабовата.



Михаил Голодный был неугомонен: «Ты послушай, разве в Москве едят лучше, чем мы? Едем в Москву!»

И Голодный, Ясный и я — не три сестры, а три брата по поэзии — поехали в Москву. Мы были бездомны довольно долгое время, пока нам наконец не дали под общежитие какую-то гостиницу. (Это здание и сейчас стоит на улице Чернышевского, и, проезжая мимо, я с грустью смотрю на него, как на памятник своей молодости.)

Шло время, и советская литература по-молодому металась в поисках путей самого близкого общения со своим мужающим читателем. Я участвовал в этих поисках.

Однажды мне сказали, что меня зовет к телефону Маяковский. Я подумал, что разыгрывают, и не сразу взял трубку. Маяковский терпеливо ждал.

— Послушайте, Светлов, я в харьковской гостинице сижу в очереди к парикмахеру и от скуки начал перелистывать журнал «Октябрь». В нем напечатано ваше стихотворение «Пирушка». Оно мне очень понравилось. Я решил послать приветственную телеграмму, но потом передумал: позвоню ему лично — так ему будет приятнее. Не забудьте выбросить из стихотворения «влюбленный в звезду». Это литературщина.

— Я уже выбросил, — отвечаю.

— Тогда все прекрасно. Приходите завтра ко мне. Пойдем вместе на мой вечер в Политехнический.

На этом вечере он читал наизусть мою «Гренаду».

Маяковский для меня — самое святое воспоминание в поэзии. Я никогда не подражал Маяковскому. Можно подражать чему угодно, только не темпераменту. Я подражал Блоку, Тютчеву, даже, извините, Надсону. И только тогда, когда я понял свою главную задачу, мне кажется, я стал поэтом.



В чем же заключается эта главная задача советского поэта?

В том, что ты обязан сообщить своему читателю что-то очень ему необходимое. Без этой задачи ты не поэт, а самый обыкновенный культурник. Я вовсе не хочу охаивать наших культмассовых работников. Они делают большое и полезное дело, и я с полным уважением отношусь к ним. Я просто хочу сказать о редкости таланта.

И еще о том (это уже побочный разговор), что плохой человек не может стать хорошим поэтом. Как ты можешь уговорить читателя стать лучше, если ты сам ничего не стоишь?

Как много людей пишут стихи и как мало среди них поэтов! Почему это так получается?

Потому что на первый взгляд труд поэта кажется очень легким. Зарифмовал, скажем, «березы — морозы», построил стихотворение столбиком, стараешься убедить своего читателя в том, что ты удивительно, безумно любишь учиться или трудиться. На самом деле это совсем не так.

В первую очередь, как вам это ни покажется странным, для того, чтобы стать поэтом, нужен талант. Затем нужна любовь, из которой рождается ненависть к противникам твоей любви. Затем нужно мастерство. Затем нужно сохранять в себе состояние вседневной работы.

Я помню, как Маяковский во время, казалось бы, совсем обыкновенной беседы вдруг поднимался и говорил: «Простите, товарищи, одну минуточку!» — что-то записывал и продолжал беседу. Я как-то наткнулся на одну его записную книжку. В ней ничего нельзя было понять. Это понимал только он один.

Как я жил в те годы? Учился на литературном факультете Московского университета, в Литературно-художественном институте имени Брюсова. Помню такой случай. Я, Го-



лодный и Ясный прохаживались по институтскому коридору (мы не очень энергично посещали лекции). К нам подошел рослый молодой, но уже седоватый человек и безапелляционно заявил: «Ребята! Сейчас я вам почитаю свои стихи». Мы не выразили особого восхищения (институт наведцали полчища графоманов и буквально отравляли жизнь), но незнакомец настоял на своем. Он прочел три стихотворения, и мы сразу поняли, что он пишет лучше нас. Это был Эдуард Багрицкий. С этого дня мы крепко подружились до самой его смерти.

Я давно уже вышел из возраста приобретений и перешел к возрасту потерь. Смерть разлучила меня со многими друзьями. Больше я не пожалу руку Иосифу Уткину, Джеку Алтаузену, Артему Веселому, Борису Левину. Недавно я опять хоронил друга. Возле гроба стояли бесконечно дорогие мне комсомольцы девятнадцатого года.

Любой предмет отбрасывает тень. Тем более человек. А мы с вами знаем, что есть миллионы световых лет. Значит, наша жизнь, на обывательский взгляд, кажется ничтожной. А на самом деле очень содержательна. И сейчас я вам объясню — почему.

Я терпеть не могу быть воспитателем. Я удивительно люблю быть воспитываемым. Все время мне кажется, что любой прохожий на улице — мой учитель. Очень мне хочется, чтобы какая-нибудь пятилетняя девочка сказала мне: «Дядя Миша! Ты не так поступаешь!» И прошла мимо. И потом какая-то старая женщина с укоризной взглянула на меня. И тогда-то я и пойму, что любой предмет, даже одушевленный, отбрасывает свою тень...

Какая же тень заслоняет мою тень! Тень соседнего дома! Маловато. Тень всей улицы! Тоже маловато. Тень всего мира! Слишком много. И тогда я начинаю задумываться о своей профессии — она-то и отбрасывает тень. Что ты сделал! И вот тут-то начинается раскаяние о пусто прожитых днях. Где твоя тень! Куда она делась! Была ли это тень ученого, или поэта, или просто случайного прохожего! И тут есть только один ответ на все эти вопросы. Тень отбрасывает твоя профессия. Что ты сделал! Без того, что ты сделал, — ты человек без тени.



Чего я страшно боюсь! Я боюсь того, что вы подумаете, будто я безумно люблю в себе воспитательное начало. Чепуха! Я просто делюсь с вами своими жизненными впечатлениями.

Нет тени без света. И никогда не следует понимать тень как что-то темное.

Это были старые люди, седые и лысые. Самого себя я, естественно, не видел, но когда состарились твои сверстники, ты не можешь остаться молодым...

Во время Великой Отечественной войны я был военным корреспондентом «Красной звезды» в осажденном Ленинграде. Корреспондент из меня получился неважный, и вскоре я по приглашению друга поехал на Северо-Западный фронт в Первую ударную армию. Мне дали звание, но строевой выправки я так и не приобрел до самого конца войны...

За десятилетия моей литературной работы у меня выработалось правило: пиши так, как будто ты сидишь и разговариваешь с читателем за одним столом. Разумеется, не с каждым поговоришь по душам. Иной берется тебя поучать, будто он и есть автор «Евгения Онегина». Зато с какой радостью читаю я письма своих настоящих читателей! Далеко не все стихи



мои могут им нравиться, но какое в этих письмах уважение и внимание к моей работе! И сколько дельных замечаний в них! Не раз, бывало, я, напечатав стихи в журнале, поправлял их для книги, следуя указаниям своих читателей.

И я заметил, что грань между писателем и читателем как-то стирается.

Разве есть граница между деревом и почвой, на которой оно растет?..

1962

КРИТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ

Поэт может быть хорошим критиком, как Валерий Брюсов, и плохим, как Андрей Белый.

А. Блок

Когда омоложенный Мефистофелем Фауст глянул свежими глазами на мир, первая попавшаяся девушка показалась ему красавицей.

В положении Фауста очутился А. Белый, когда после долгого перерыва снова заговорил о поэзии. Он глянул молодыми глазами на «Новый мир» и увидел поэму Санникова.

Назвать статью Белого о Санникове восторженной — значит снизить ее пафос. Статья Белого — это влюбленная серенада, опьяненная даже недостатками возлюбленной:

«Ударные по тематике моменты поданы в ярком освещении *безукоризненной* (!) техники, настолько захватывающей, что на темных, *дефектных* (?) местах порой отдыхаешь даже...»

Это академическое венчание лауреата:

«Санников точно сдает экзамен на окончание стиховед-



ческой школы, откуда выходит с дипломом первой степени за показ строчек по Пушкину, по Маяковскому, по Гумилеву и т. д.».

Это героический апофеоз, в котором Санников при жизни становится памятником, монументом, гигантом на бронзовом коне:

«Поэма Санникова для меня знаменует начало нового этапа в развитии нашей пролетарской поэзии, которое отныне делимо на два периода: до написания «В гостях у египтян» и после».

Что же поразило нашего Фауста в сей лит-Маргарите?

Андрей Белый отвечает на это совершенно отчетливо.

Во-первых. Роман в стихах Санникова разрешил проблему советского эпоса. До Санникова эпоса у нас не было. Что было до Санникова? Так, пустячки:

«Там, где пролетарская и попутническая поэзия доселе давала лишь розовый лирический дым, часто обедняемый нарочитой дидактикой, — там встала картина». Правда, кое-какие попытки перейти к эпосу были. Например.. «Лисья шуба и любовь» Казина. Но эти попытки, «все еще являли собою перегруженность лирики». Эпос, оказывается, «явно не давался» и «уступал место прозе».

Так изображает Андрей Белый историю советского эпоса. Но позвольте, однако. Где же «Улялаевщина», «Пушторг», «Дума про Опанаса», «Выра», «Красные на Араксе», «Лейтенант Шмидт», «Повесть о рыжем Мотэле», «Нобуж», «Семен Проскаков»? Куда девалась эпическая культура целого десятилетия, которая двинула советскую поэзию на целый корпус вперед?

Ответа на этот вопрос в статье Белого нет.

Во-вторых. Роман в стихах Санникова поражает Белого техническими открытиями и изобретениями.



Был, как мы знаем, ямб «по Пушкину» — появился «вольный размер по Санникову». В чем же существо этого «вольного размера по Санникову»? А в том, что Санников, знаете ли, открыл новый принцип стопы, подчиняющий ее *«не столько метрическим, сколько тактометрическим правилам»* (Sic!).

Кроме того, Санников (слушайте, слушайте!) ввел в стих цифры и диаграммы; он создал не существовавший до него стиль прозаизированного стихового доклада; он первый, единственный заменил метафору интонацией. Что же касается рифмы, то Белый просто не в силах вынести таких тончайших созвучий, как, например, «этими» и «времени». Он даже боится, что они могут выглядеть... «плохими рифмами». Между тем как Санников не прочь щегольнуть и «изысками рифмы». Таким «изыском» Андрей Белый считает... «видение — Туркмения» (алло, Асеев и Кирсанов: смотрите и учитесь!).

Однако довольно. Мы не хотим утомлять читателя. В статье Белого заложено больше пафоса и пиитического восторга, чем во всей поэме Санникова. С Андреем Белым произошел скверный инцидент. Впервые этот эрудитнейший человек вышел на критическую арену, совершенно не вооруженный знанием дела.

Андрей Белый благодушно относится к «заимствованиям» и «отраженностям» Санникова. Но сам Санников держится более нервно: говоря о том, что Леонов описал борьбу с саранчой, Санников пишет:

Стихами черными, как кофе (?),
И я бы написал, пожалуй.



Но опасаясь: скажут — копия,
И загрызут меня шакалы.

Как видим, щепетильность Санникова относится не столько к «копии», сколько к поведению «шакалов». Но в таком случае почему, по мнению Санникова, «шакалы» должны быть равнодушны исключительно к Леонову и обойти Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Гумилева, Бальмонта, Гофмана, Пастернака, Сельвинского?

В кино есть такое определение — синхронность. Это когда звук совпадает с изображением. У поэзии своя синхронность — когда поэт совпадает со своим читателем.

Санников никогда не был ведущим поэтом. Сейчас своим романом в стихах он делает шаг к тому, чтобы занять место на передовых позициях поэтического фронта. Но это пока еще только шаг. И именно в интересах Санникова надо было Андрею Белому указать ему на чрезмерную несамостоятельность его поэмы, несмотря на специфичность ее материала (хлопок). Больше того, такой мастер стиха и стиля, как Белый, обязан был указать Санникову на целый ряд срывов, промахов и просто грамматических ошибок.



Нельзя, например, песню туркменских комсомолок подавать «старорусской вязью»:

Ах, вы, кустики,
Вы не русские,
Молодые и, по мне,
Иноземные.

.
Ваши ножки, ваши ручки
Выпрямлялися.

Нельзя также комсомольскую песню заканчивать такой явно пародийной концовкой:

И, влюбленная
В достижения труда,
Я пойду в рядах
Со знаменами.

Нельзя с маху и неряшливо строить метафору на соединении конкретности с абстракцией, иначе получатся такие перлы:

Из яйца фаты унылой,
Прорвав адата скорлупу...

Нельзя базировать описание иностранного города на шаблонных, избитых географических наименованиях, претендуя при этом на изображение колорита:

Крик арабов...
и жалоба мулов.



Нельзя рифмовать «женщина» — «переоденется», «бумажными» — «Джураевой», «труд» — «путь», как нельзя жеманить утюг на канарейке.

Нельзя, наконец, строить фразу так, чтобы придаточное предложение, подчиняясь главному как обстоятельство образа действия, на самом деле имело бы в виду совершенно другое подлежащее:

В те дни в глухой Иолатани,
Прочтя некрологи в газетах,
— До свиданья, друг мой, до свиданья —
Не ты ль играл строкою этой?

Что хочет сказать автор «строкою этой» и что он сказал? Сказал он, что Маяковский, будучи в Иолатани и прочтя некрологи в газетах, играл строкой «До свиданья, друг мой».

А хотел сказать Санников совсем другое: прочтя в Иолатани некрологи в газетах о Маяковском, автор подумал: «Не ты ли играл недавно строкой — «До свиданья» и т. д.

Такова «безукоризненная техника», на дефектах которой хочется Белому отдохнуть.

Андрей Белый стал жертвой игнорирования поэтической культуры революции. Своей панегирической, но глубоко неверной статьей он поставил Санникова в ложное и невыгодное положение. В интересах Санникова нужно рекомендовать нашей критике заново проанализировать роман, не делая его автора ответственным за печальный случай, происшедший с Андреем Белым.

1933



МАЯКОВСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Что такое большой художник? Это человек, у которого потолок выше неба.

Природа создала Маяковскому лучшую мебель на свете — звездную люстру, высокие горы, меняющиеся облака, грузинскую бурную речку.

Гору нельзя разменять на холмы, а бурную речку — разливать по бутылкам.

Маяковский — это самая обширная на свете комната, у которой нет стен. Мне скажут: но ведь человек не может жить без стен — они предохраняют, на них висят портреты великих, фотографии погибших друзей и родных.

Значит: да здравствуют стены, которые нас не отделяют от мира. Стены, загораживающие мир, — это уже тюрьма.

Маяковский для меня — стена, соединяющая со всем миром.

Я смотрю на фотографию: двенадцатилетний мальчик, ученик 3-го класса Кутаисской гимназии. Она выснята из групповой фотографии: отец, мать, сестры. Казалось бы, обычное фото, какие бывают в домашнем альбоме.

Но это уже 1905 год. Уже слышатся выстрелы, и революционные песни, и крики «Долой!» — по-грузински и по-русски.

А вдали — бушующий 1917-й.

Буря не может написать свою автобиографию. Не чернила ей нужны, а ливни, не восклицательные знаки, а — никаких знаков препинания!

Иные стихи поэтов об Октябре — чистописание. А поэзия Маяковского — это «буреписание».

У Лермонтова написано:

А он, мятежный, просит бури...



Маяковский никогда не искал бури,— она сама потребовала его. И он оправдал великое доверие революционной бури.

Литературоведы, авторы монографий, делят Маяковского на раннего и позднего. Не знаю, для меня Маяковский никогда не был ни ранним, ни поздним.

Я смотрю на фотографию двенадцатилетнего мальчика, который уже прожил треть жизни. И думаю о своей шестидесятилетней жизни, которая уже не треть.

Когда мой читатель мне скажет: «Расскажите о себе»,— я отвечу: «Лучше я расскажу о нем».

Кажется, в книге Василия Каменского я читал о том, как Маяковский, уже взрослый, снова приехал на родину, в Грузию. Он побывал в родном Кутаиси, был в Тбилиси, читал стихи, веселился и даже несколько раз порывался сплясать лезгинку. С большой компанией он поднялся на фуникулере на гору Давида

Учитель, по установившейся вульгарной традиции, это человек, которому надо подражать. Я с этим не согласен. Учитель в искусстве — это человек, который мог тебе стать самим собой.



и, озирая горы с высоты, сказал:

— Вот это — аудитория! С эстрады этой горы можно разговаривать с миром. Так, мол, и так — решили тебя, старик, переделать.

Это было в 1914 году. Три года отделяли его от того часа, когда началась переделка старого мира.

Моей задачей было рассказать о детских годах Маяковского в грузинском селе Багдади, которое теперь носит его имя, о Кутаисской гимназии, о том, чем был 1905 год для будущего огромного поэта революции.

И я с грустью констатирую, что с этой задачей я не справился. Может быть, другие, те, кто продолжит «Маяковское путешествие», окажутся счастливей и удачливей меня.

Единственное, что у меня дома висит на стене, — портрет Маяковского. И поэтому мне кажется, что у моей комнаты нет стен.

Под лирикой многие подразумевают рифмованное изложение чувств. В конце концов, такого мастерства нетрудно добиться. Стоит только научиться хорошо подражать. А в искусстве можно подражать чему угодно, только не темпераменту. Вот почему все слепые подражатели Маяковскому и следа о себе не оставили.

1963



ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

1925 год. Высший литературно-художественный институт имени В. Я. Брюсова. Перерыв между лекциями.

Мы — три комсомольских поэта (Михаил Голодный, Александр Ясный и я), — не помню уже о чем, беседуем. К нам грузно и медленно подходит не старый, но уже седоватый человек в гимнастерке и тяжелых сапогах:

— Послушайте, ребята, я вам сейчас почитаю стихи.

Это предложение было не из приятных. Стихи в то время писали и читали многие, подавляющее большинство их было плохими, каждому хотелось показать, какой он талантливый, и мы тосковали больше о простой человеческой речи, чем о стихах.

Но отказать незнакомому человеку было неудобно, тем более что сам он производил очень приятное впечатление, и мы с кислыми минами приготовились слушать.

Багрицкий начал с «Арбуза». Как только он его прочел, мы сразу поняли, что перед нами большой поэт и что не столь важно, чтобы мы его выслушали, сколь важно, чтобы он выслушал нас.

Эдуард продолжал читать. Нас было уже не четверо, а, пожалуй, человек тридцать. Подходили еще и еще. Тщетно надрывался звонок, призывая нас на очередную лекцию, — мы так и не пошли на нее. Прекрасное, своеобразное чтение Багрицкого прерывалось частым кашлем (он страдал астмой). Мы требовали еще и еще.

— В другой раз, ребята. Вы видите, я больной человек, я сразу много не могу.

Он был утомлен, но счастлив. Каждый молодой поэт едет впервые в Москву с сомнением: как его примут, что скажут,



трудно ли будет «пробиться»? Здесь признание было мгновенным и полным.

Спустя четверть века после этого первого дня нашего знакомства я перечитываю Багрицкого, и еще шире, еще многограннее встает передо мной образ этого замечательного поэта, чудесного спутника моей юности. Великий закон жизни: если хочешь, чтобы товарищи никогда не расставались с тобой, пиши хорошие книги, делай настоящую работу — и разлуки никогда не будет. Я перечитываю Багрицкого, и мне кажется, что я никогда с ним не разлучался.

«Ребята, я пишу поэму. Послушайте кусок».

И он читает нам отрывок из «Думы про Опанаса». Очень нам нравилась эта поэма. Стоило нам узнать, что Эдуард написал еще хотя бы несколько строк, — и мы мгновенно мчались в Кунцево, где он тогда жил, чтобы услышать первыми.

Он очень любил поэзию и любил говорить о ней. Он боль-

Большой поэт не просто шагает в строю, а ведет строй. Большой поэт не похож на другого поэта. Если, скажем, наборщик забыл набрать фамилию автора, то читатель все равно разберет, какие стихи принадлежат Твардовскому, или Смелякову, или Исаковскому.



ше, чем кто-либо из нас, понимал будущее советской поэзии, пути роста ее кадров, и отсюда его безграничные любовь и внимание к молодым поэтам, которые он пронес через всю свою жизнь. Это великолепно выражено в стихотворении «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым»:

Что ж! Дорогу нашу
Враз не разрубить:
Вместе есть нам кашу,
Вместе спать и пить...
Пусть другие дразнятся!
Наши дни легки...
Десять лет разницы —
Это пустяки!

Багрицкий начал писать и печататься еще тогда, когда литературно-художественные альманахи носили странные названия: «Авто в облаках», «Седьмое покрывало» и т. п. Предреволюционный декаданс захлестнул Одессу — родину поэта. Но и тогда, в своих ранних произведениях, Багрицкий уже обладал революционным темпераментом. Он облачался в поэтическую традиционную форму, как ребенок в материнскую шаль, — шаль была старой, а лицо — молодым. Вот почему Багрицкий не испытал никакого кризиса при переходе от тем литературно-патетических к темам революционной действительности:

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Боевые лошади
Уносили нас,



На широкой площади
Убивали нас.

Но в крови горячейной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы ..

Это отрывок из стихотворения «Смерть пионерки». Каким огромным и горячим сердцем надо обладать, чтобы написать такое стихотворение!

Тихо подымается,
Призрачно легка,
Над больничной койкой
Детская рука...

Еще поражает в Э. Багрицком диапазон его творчества. От «Уленшигеля» до стихов на агитпоезде «Интернационал», от «Трактира» до «Думы про Опанаса» — широкий путь прошла поэзия Багрицкого по полям гражданской войны, громким голосом говорил поэт в первые годы созидания нашей социалистической державы. Болезнь мешала ему быть более активным бойцом и строителем, и весь свой гражданский темперамент вкладывал Багрицкий в поэтическое творчество.

Когда мы вспоминаем об ушедших друзьях, мы подчас думаем об их странностях. Багрицкий, например, слыл страстным охотником. Но я убежден в том, что за всю свою жизнь он не убил ни одного зверя, ни одной птицы. Зато с каким наслаждением он надевал высокие сапоги и пропадал в болотах, — ему нужна была не самая охота, а воздух, атмосфера ее. Отсюда — голуби, рыбы и звери по-домашнему чувствуют себя в его произведениях.

Много можно написать о Багрицком. Пятнадцать лет про-



шло со дня его смерти, но стоит мне только развернуть его книгу стихов, как предо мной сразу предстает окруженный молодежью большой, своеобразной красоты седой человек (которому еще далеко до сорока): «Почитайте-ка, ребята, что вы там такое написали!»

Молодежь читает, Багрицкий слушает, улыбаясь. Ни разу никто не слышал от него резкого слова, и вместе с тем он ни разу не похвалил то, что ему не нравилось. Поэт, воспитатель поэтов, Багрицкий продолжает жить в нашей памяти о нем, в нашей любви к нему.

1949

ВЕРШИНА ПОЭЗИИ

У Гёте есть замечательное определение путей поэта. Гёте говорит: сначала поэт пишет просто и плохо. Следующий этап, когда он пишет сложно и тоже плохо, и, наконец, вершина поэта, когда он пишет просто и хорошо.

До такой вершины мы доходим со своими ошибками и достижениями, но это и есть вершина поэзии.

Многие поэты пишут просто и плохо,— первый гётевский этап. Им же кажется, что это третий гётевский этап.

Вчера молодые поэты читали стихи. Должен сказать, что это был один из лучших вечеров. Это и есть то, в чем заключается смысл собрания поэтов. Нужно воспитывать наших молодых поэтов. Здесь необходимо сказать о Безыменском. У меня вовсе не отрицательное отношение к Безыменскому. Я его считал и считаю одним из самых передовых поэтов нашей страны и одним из самых полезных поэтов. Его книжка «Как пахнет жизнь» повернула всю советскую поэзию лицом к действительности. Но я считаю, что Безыменский за-



был свою ответственность перед читателями и, главным образом, перед начинающими, молодыми поэтами.

Это видно, когда читаешь его строки: «У сердца подтяни штаны» — или строки:

Отец у Ленина — машины,
А мать у Ленина — поля.

Молодому начинающему поэту не легко разобраться в том, что хорошо и что плохо. Он может в конце концов хорошую строку принять за плохую и плохую за хорошую, потому что еще недостаточно искушен в этом деле.

Очень тяжело нашим молодым поэтам. Надо как-то снять эту перегородку между старшими и молодыми. Нужно, чтобы они вошли полнокровными членами в нашу семью. Ведь, когда мы входили, мы вошли как джентльмены. А вот молодые поэты находятся как-то на отшибе, и необходимо правлению Союза и секции поэтов взяться за это дело.

Дальше. Разговоры о великом значении Маяковского развернулись только после слов Сталина. А мы, поэты, которые жили рядом с ним? Я говорю совершенно искренне, когда я бывал рядом с ним, я все время гордился тем, что я современник этого великого поэта. Неужели мы, писатели, не понимаем его значения? Кто нам мешал популяризировать Маяковского?

1936

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Я вовсе не собираюсь рассказывать анекдоты. В старости тебя сопровождает не шумящая листва, а только тени отшумевшей листвы. И воспоминание, кажущееся на первый



взгляд пустяком, влечет за собой бесчисленные ассоциации. Бывает в жизни такое состояние, когда пятно заменяет картину. У меня сейчас такое состояние. Поэтому, не обладая усидчивостью, чтобы написать роман, достойный внимания всех слоев общества, я буду, как бабочка, летать с воспоминания на воспоминание. Может быть, и моя пыльца оплодотворит нашу общую ниву.

Недавно я зашел к Николаю Николаевичу Асееву. Он впервые читал Артема Веселого и был в полном восторге. Артем Веселый — это моя юность. Мы все проходили сквозь заросли новаторства, и каждый из нас, идя к коммунизму, хотел иметь собственную походку. Поэтому, читая Артема Веселого, надо пробиться сквозь джунгли дани времени и прийти к сути этого большого писателя.

Писал он удивительно. Он писал на одной стороне листа. Потом он кнопочками навешивал все эти листы на стенку и шел пешком вдоль своего произведения, на ходу исправляя ошибки. «Ну как, Миша, ничего?» — «Ничего, ничего, вполне ничего!» — отвечал я. Так писал этот великолепный русский писатель. Это был могучий юноша, и, хотя его уже давно нет на свете, мне кажется, что вот-вот он ко мне зайдет.

Почему-то в связи с этим наступает мне на ноги другое воспоминание. Была в моем родном Екатеринославе Тихая улица. И жил на этой улице удивительно застенчивый мальчик-комсомолец. Он себе выбрал псевдоним Тихий. А я в это время был солдатом революции (люблю красивые слова). Я тогда проштрафился, я обжег руки кипятком и не мог встать на дежурство. Меня отправили на гауптвахту.

Знойный, необычный даже для Украины день. Моим кон-



воиром был мой товарищ с уличной фамилией — Тихий. «Миша, — сказал он мне, — я задыхаюсь. Понеси ты винтовку». Я арестованный. Сами понимаете, что я мгновенно согласился. Потом я тоже устал и он вел меня как арестованного. Так мы менялись раз шесть. Я провел на гауптвахте часов пять, а воспоминание осталось на всю жизнь.

Машины портятся, а человек тем более. Начинается лаборатория — насколько я изменил своей детской мечте? Вспоминаю Кайдаки — железнодорожный район в городе Екатеринославе. Я вспоминаю ее огромные голубые глаза. В старости есть своя прелесть — она из отдельной тарелки может сделать целый сервис. И вот девушка, имени которой я так и не запомнил, проходит по всей моей жизни. И так как ее глаза были необыкновенно голубыми, вся моя жизнь кажется мне необыкновенно голубой. У них — и у девушки и у жизни — была неудачная любовь.

Лил необыкновенно противный дождь. Мои сухие носки промокли не от дождя, а только от впечатления о нем. Стук в дверь. Вошел знакомый мне человек, но где и когда я с ним познакомился, убей меня бог, не помню. Это был Александр Довженко. Он носил довольно красивые туфли, но только у них был один недостаток — у них не было подошв. Я ему отдал свои запасные туфли (какой же это корабль без спасательного круга!), и он долго носил их — до получения всеобщего признания. Тяжело хоронить гениальных людей.



У меня в детстве был друг. Его звали Арка. Сокращенное от Арон. Он — умирающий еврейский мальчик — отдавал распоряжения, как американский миллионер. «Голубую папку отдадите Тосе. Ей пишут письма много влюбленных мальчиков. Надо же собрать архив. Газетчику Моте (ну, тот, который со сломанным носом, у него еще брат — эстрадный артист) я задолжал восемьдесят копеек. Сложитесь и отдайте ему. Мое место на фиалковом заводе (тогда все искусственные воды назывались «фиалковыми») перепоручите Косте Петрову. Он прилежный человек». Он долго и мучительно умирал. Я ушел.

Мы хоронили Клаву — жену Семы Кирсанова. В крематории была очередь. Мы с Ильей Ильфом прошлись по кладбищу. Он обратил мое внимание на смешной памятник: «Здесь похоронена такая-то. Умерла в частной больнице Александра». Муж мстил врачу. Через несколько дней я хоронил Ильфа. Господи! До чего же мы много хороших людей потеряли!

Идут два старика. Знойный день. Молчание.

Один старик говорит: «Что-то моего Мишу¹ перестали печатать в «Правде». Пауза. Мой отец отвечает: «Ну да, если бы не этот формализм, то можно было бы жить!»

¹ Речь идет о Михаиле Голодном.



С большой грустью я узнал о гибели Джека Алтаузена, этого молодого, талантливого и удивительно жизнелюбивого человека. Это был хохотун в самом лучшем смысле этого слова. Он смеялся неудержимо, необычайно по-доброму и так заразительно, что человек с самым дурным настроением в его присутствии становился таким же веселым, как и сам Джек Алтаузен.

Его необычайное для России имя Джек произошло оттого, что он родился в Лондоне, где он прожил не дольше своего ясельного возраста.

Я познакомился с ним в Москве, когда он только начал складывать азы в советской поэзии. А затем весь процесс его творческого роста происходил на моих глазах. И все время, от ученической поры до овладения мастерством, его никогда не покидало чувство гражданственности в своей литературной работе. Не тихая венозная, а кипучая артериальная кровь билась в его творчестве.

Маяковский и Алтаузен как-то столкнулись на лестнице.

«Что вы несете, Джек?»

«Да вот купил Иннокентия Анненского и Каролину Павлову».

«Начитаетесь вы этих Иннокентиев и Каролин, до чего же вам скучно жить станет!»

У Бориса Ковынева была такая маленькая комната, что в ней мог разместиться только бездетный воробей. И тем не менее в ней собиралось много молодых поэтов. Думали ли



мы тогда, что доживем до пятьдесят девятого года? Не думали. Мы себе казались тогда бесконечно молодыми. Может быть, это действительно так?

Шел день за днем, вечер за вечером, и мы постарели. Может быть, по-молодому пожулиганить? Пятнадцать суток для таланта — секунда.

Я познакомился с И. Фефером, моим тогда еще будущим другом, в самом начале двадцатых годов. Это было очень интересное время и в жизни и в поэзии. Свежие, сильные ростки советской литературы буйно пробивались из почвы народной, быстро разрастались и всюю шелестели своей неугомонной листвою. Взбудораженная Октябрем молодежь меньше чем на мировую революцию не соглашалась. И я не соглашался. И еще более упорно не соглашался Ицык Фефер.

Если обратиться к нашей поэзии того времени, то мы увидим, что молодые поэты не только считали дело мировой коммуны почти завершенным, но и поглядывали на соседние планеты для установления на них более совершенного и справедливого строя. Одним из самых темпераментных и мужественных вожаков этой поэтической молодежи был Ицык Фефер.

Мы — я и друзья мои (ныне покойные) поэты Михаил Голдный и Александр Ясный — познакомились с Фефером в Харькове, в общежитии ЦК КП(б)У. И тогда он, пусть и немногим старше нас, был уже боевым большевиком.

Шли годы. Мы все меньше кричали и все больше думали. Со временем все шире раскрывались творческие возможности нашего друга. Он оставил соседние планеты в покое и обратился к соседу — человеку. И он сумел заговорить с ним языком настоящей большой поэзии. Читаешь его стихи и ви-



дишь, сколько мягкости и любви сумел он донести к людям! И вместе с тем его боевой темперамент нисколько не ослабевал.

Когда останавливается сердце друга, кажется, что и твое сердце вот-вот замрет. Это я остро почувствовал, когда вышел из госпиталя и узнал о смерти Иосифа Уткина.

В чем была его прелесть? В том, что он мог мягко, осторожно и доверчиво положить руку на плечо читателя, не уговаривать, а убеждать его. Убеждать в том, что человечество обладает великим здоровьем, несмотря на временные болезни.

Благодородство— вот постоянный спутник Иосифа Уткина.

И вторым его спутником было обаяние.

Его жизнь оборвалась, но, сколько бы он ни жил, он всегда был бы комсомольцем. Пусть это звучит несколько выспренне, но он был пророком хороших чувств, и поэтому мы все дружили с ним.

Мы читаем его неопубликованные стихи, и создается удивительное ощущение— умерший поэт заговорил. Хочется поверить в то, что он никогда не умирал. Наследство, которое он оставил нам, заключается не в капитале, а в простой, обыкновенной фразе: «Продолжайте дело, которому я отдал всю свою жизнь».

И мы будем продолжать.

Мое поколение по самому возрасту своему вступило в период потерь. Но нестареющая память о любимом поэте и друге, постоянство в наших привязанностях — дорогое приобретение.



СЛОВО ПОЭТА

...Я буду говорить о том, что меня волнует и о чем мы мало говорим, когда собираемся вместе.

...У нас немного потребительское отношение к поэзии. Вот сегодня где-то происходит «то-то», а завтра в другом месте другое — и мы спрашиваем: «Поэт, где твой отклик?» Но ведь бывают разные люди. Маяковский откликался мгновенно. А я — не могу, не умею.

Однажды Маяковский встретил меня и говорит:

— Я читал ваши стихи в «Известиях». Это — гадость. Вы не умеете писать агиток. И не пишите! Я умею — я пишу!

...Мы требуем положительного героя везде и во что бы то ни стало. Но вот Гоголь написал «Ревизора» против взяточников. Прошло сто с лишним лет. Как мы оценим конкретную пользу «Ревизора» или «Мертвых душ»? Ведь там нет ни одного положительного героя! Так неужели Гоголь любил Россию меньше нас с вами?!

Значит, и со знаком минус можно писать большие произведения. Это моя точка зрения. И я хотел о ней сказать.

Я пишу пьесу. Какова моя задача, или, вернее, «сверхзадача»? Я хочу, чтобы зритель, уйдя из театра, стал на полногтя лучше. Если слепить каждые «полногтя», то в общей массе это «лучшее» достигнет немалой величины.

...Вот Москва — святое для нас место. В Москву можно приехать из Архангельска и из Харькова, то есть существуют совершенно разные подъезды к одной и той же цели. В поэзии — как и в жизни.

Я себе представляю дело так: заседает правительство, говорят — у нас в Союзе столько-то миллионов пенсионеров, обдумывают — как сделать, чтобы они жили лучше? Высту-



пает министр финансов, говорит: «Это дело трудное, нужны миллиарды!»

Я художник. Но я не вижу ни миллионов, ни миллиардов. Я вижу одну нашу уборщицу, которая весьма довольна, что получает сейчас 300 рублей, вместо прежних 215. От нее я иду к общему.

Вы понимаете, насколько это разные подходы. Я не могу представить себе трех миллионов жаждущих, если не вижу конкретно трех из них. Мне необходимо видеть трех из трех миллионов!

...Если лимонад притворяется шампанским, я все равно от него не хмелею. Как часто это бывает у нас в поэзии! Когда встречаешь знакомого, спрашиваешь: «Как твоя жизнь?» А художник, встречая художника, должен спрашивать: «Как твоя бессонница?» Я так люблю, когда художник — нервный, восприимчивый, острый!

...У нас говорят — «отряд советских поэтов». А поэт — это командир отряда. Он ведет чи-

Можно днями и ночами декларировать свою преданность идее. «Ах, как мы растем и какое у нас светлое будущее!» Это будет стрельба не по мишени, а по площади — куда ни пальни, все равно попадешь в будущее.

Мы знаем, к примеру, какие огромные средства тратит наше государство на обеспечение старых людей. Но чтобы рассказать об этом, мне думается, надо начинать не с миллионов, а с двух-трех знакомых тебе пенсионеров. Тогда слово обретет плоть. Первым и обязательным законом для рождения стихотворения является накопление знаний и чувств.



тателей за собой. А если наш Союз писателей — отряд, ну ладно, пойду в президиум заседания — постою на часах и уйду... Настоящий художник — не рядовой в отряде. Я хочу, чтобы мы по-серьезному определяли роль писателя.

...Когда поэт сам про себя говорит: «Я пишу на пользу отчизне», мне странно слушать эту нескромность. Ты должен быть до краев наполнен любовью, не подозревая этого. Тогда получатся стихи. Иначе они не получаются!

...В общем, какие бы мы слова ни придумывали, чтобы поднять еще выше нашу поэзию, дай нам бог одного — настоящей творческой бессонницы.

1957

ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД

Весьма часто и в передовых статьях «Правды» и во всей нашей печати мы можем встретить фразу: «вдохновенный труд советского человека». Касается ли это какого-нибудь экскаваторщика, или колхозного бригадира, или мастера обувной фабрики — все равно, партия зовет к *вдохновенному* труду.

Я говорю о вдохновении не как о «божественном глаголе». Я подразумеваю под вдохновением просто-напросто творческое возбуждение. Оно — это возбуждение — также отнюдь не божественного порядка, оно является в результате накопленного опыта, богатства познанных материала, а также присутствия такого незначительного фактора, как талант. Поскольку я уже упомянул о таланте, мне хочется сказать о нем несколько слов. Я в советской поэзии, должен прямо сказать, прожил не всегда полезную, но долгую жизнь. И сколько раз мне приходилось, да и сейчас приходится, быть свидетелем того, как видимость таланта заменяла самый талант.



Но видимость не может заменить сути, скандал не может заменить конфликта, происшествие не заменит события, злость не заменит гнев и хорошее отношение не заменит любви.

Мало того, часто бывает, что талантливые поэты пишут неталантливые стихи. Почему это происходит? Потому что они приступают к своей работе с недостаточной наполненностью, без которой нет вдохновения, и вместо хорошо оснащенного судна получается примитивная лодочка. Поэт не сообщает нам ничего интересного, а только изрекает давно нам известные истины, да и истины подаются не всегда точно. В данном случае поэта постигает незавидная судьба того известного мальчика, который считал, что белые коровы дают молоко, а черные коровы дают кофе. И еще почему у талантливых поэтов получаются неталантливые стихи? Потому что для убедительности своей работы они ищут доказательства извне, а не изнутри, а это всегда неубедительно. Скажем, можно перечислить и зарифмовать массу туркменских или азербайджанских населенных пунктов, но Туркмению или Азербайджана мы не увидим. Можно в стихотворении десять раз вставить слово «коммунизм», но дорога к коммунизму от этого не станет короче. Декларативность не может заменить большого волнения. И если нашу работу сравнить с работой парового двигателя, то как часто сила нашего пара уходит на гудки, а не на движение.

Может показаться, что я говорю слишком абстрактно — ни одного примера, ни одного доказательства, я не привожу ни одной цитаты из публикуемых в печати стихотворений. Я это делаю сознательно, делаю не потому, что я боюсь испортить отношения с кем-либо из товарищей-поэтов. Гораздо хуже, если можно так выразиться, испортить отношения с самим собой. А они у меня, опять-таки если можно так выразиться, прочно испорчены. У меня в столе сейчас лежит восемь неза-



В чем, на мой взгляд, заключается главная опасность для советского писателя! В том, что он может принять происшествие за событие и, наоборот, низвести событие до уровня происшествия. Это страшно для писателя. Мы можем злость принять за гнев, сентиментальность — за любовь, демагогию — за искусство. Разве нам не приходилось встречаться с такими явлениями! От них остаются только горькие воспоминания.

конченных стихотворений. Почему я их не могу закончить? В силу вышеописанных собственных нам недостатков — много пара истратил на гудки, мало угля подкидывал в топку. А ведь в этих стихах есть отдельные по-настоящему хорошие строфы и даже кое-где бьется неплохая мыслишка. Поэтому очень прошу вас — не подумайте, что я с годами становлюсь все более брюзгливым. Я по-прежнему такой же доброжелательный к вам — своим товарищам, но боюсь, что я эту доброжелательность начинаю терять по отношению к самому себе.

Я завидую, безмерно завидую товарищам, написавшим стихи о наших великих стройках. Мне кажется, что эти стихи недооценены, что не учтены обширность и величие темы, что вообще трудно впервые писать о новом. Конечно, эти стихи не во всем совершенны, но те, кто их написал, проложили пути, и спасибо им за это — по лыжне легче идти, чем по свежему насту.



И закончить я хочу тем, с чего начал,— давайте делать то, к чему давно и настойчиво призывает нас партия,— давайте вдохновенно трудиться. И тогда все станет на место.

1965

НЕСКОЛЬКО МОИХ СЛОВ О ВАЛЕНТИНЕ КАТАЕВЕ

Это никоим образом не критическая статья. Это несколько моих слов о молодости Валентина Катаева и о моей молодости.

Я в своей долгой жизни встречался со многими талантливыми людьми. Таланты бывали разные. Таланты бывали строгие. Видно было, что этот человек может сделать то, чего не может сделать другой, но меня к этому человеку не очень тянуло. Таланты бывали беспутные, и тогда я, как и мы все, очень сокрушался: господи! сколько бы этот человек мог сделать! Таланты бывали — так себе. Но их было так много, что я даже не могу разобраться в них.

Самым главным качеством в таланте для меня является его очарование. Именно поэтому я и люблю советского писателя Валентина Катаева.

Когда мы познакомились с ним, он был старше меня на семь лет. И, как это вам ни покажется странным, эта разница в годах сохранилась до сих пор.

В 1923 году (а может быть, несколько позже) к нам в общежитие комсомольских поэтов «Молодая гвардия» (Покровка, 3) пришел и познакомился с нами начинающий прозаик Валя Катаев. Он прочел нам рассказ «Ножи». Очарование нельзя заработать, так же как нельзя заработать сердце, руку или ногу. Очарование может быть только



органичным. Это его органичное очарование нас и покорило. Зерно его очарования, как мы в этом уже давно убедились, выросло в могучий колос. Я себе даже не могу представить советского человека, не читавшего Валентина Катаева.

Добро может быть разным. Человек может быть добреньким. Таких людей я просто не выношу. Но когда добро активно, тогда создаются прогрессивные революции. Валентин Катаев — писатель активного добра. Весьма активного. Кроме того, я его давно-давно знаю. И поэтому моя любовь к нему увеличивается почти вдвое.

Я себе представляю, как он глубокой ночью продолжает своих Бачеев. Он увлекся работой. И вдруг раздается звонок. Катаев неохотно поднимается: «Кто там?»

А это я звоню. «Отвори дверь, Валя. Пришел друг».

СПАСИБО ПОЭТУ!

Поэты пишут много стихов, и читатель говорит им: «Спасибо!» Но это такое спасибо, как будто читателю дали прикурить или предупредительно раскрыли перед ним дверь. И редко выпадает на нашу долю награда не обычной, а глубочайшей благодарности читателя. Именно этим чувством я наполнился, прочтя книгу Ярослава Смелякова.

Как же мне точнее определить те чувства, которые вызвала во мне книга в целом и каждое стихотворение в отдельности?

Мне кажется, что он меня от чего-то спас. Спас от поступка, который можно было бы не совершать, и зовет к подвигу. Спас от недостаточно внимательного отношения к товарищу и, наоборот, отвлек от слишком большого внимания к тому,



на что внимания обращать не стоит. Короче, он приобщил меня к своей строгой любви.

Не сладкая жизнь была у Ярослава Смелякова, но ни в одной строке я не услышал ни одной жалобы. Стрдание у него превращалось в любовь, как зерно превращается в хлеб, детство в юность, мысль в стихотворение.

Ярослав Смеляков — один из лучших представителей нашей гражданской лирики. Читатель опирается на его плечо, и Смеляков не чувствует тяжести. Наоборот, путь его от этого становится легче.

Ослепли глаза от мороза,
Ослабли от туч снеговых,
И ваши, товарищи, слезы
В глазах застывают моих...

(«Ленин»)

Кровообращение большого поэта протекает не только в системе собственных артерий и вен. Оно незаметно соединено с кровеносной системой читателя.

Наши сестры в полутемной зале,
Мы еще о вас не написали.
В блиндажах подземных, а не в сказке
Наши жены примеряли каски.

Не в садах Перро, а на Урале
Вы золою землю удобряли.
На носилках длинных под навесом
Умирали русские принцессы...

(«Милые красавицы России»)

Для доказательства того, что поэт и читатель одной группы крови, я бы мог процитировать всю книгу.



Редко кто так преданно и нежно относится к детям, как Ярослав Смеляков. В стихах, посвященных детям, он не добрый дяденька, он — чудесный дяденька. «Судья», «Аленушка», «Хорошая девочка Лида», «Опять начинается сказка...», «Первый бал» — сколько же в этих стихах большой душевной чистоты!

Три стихотворения посвятил поэт матери: «Песня», «Вот опять ты мне вспомнилась, мама...» и «Мама». Казалось бы, от обилия чувств автор вот-вот перешагнет тоненькую границу, отделяющую лирику от сентиментальности. Но опасения напрасны — он остается в области лирики:

Дай же, милая, я поцелую,
От волненья дыша горячо,
Эту бедную прядку седую
И задетое пулей плечо.

Вот она — граница сентиментальности! Но поэт ее не перешел, а энергично повел стихотворение дорогой лирики:

В дни, когда из окошек вагонных
Мы глотали движения дым
И считали свои перегоны
По дороге к окопам своим,

Как скульптуры из ветра и стали,
На откосах железных путей
Днем и ночью бессменно стояли
Батальоны седых матерей...

Особого внимания заслуживает поэма «Строгая любовь». Нужно прямо сказать — это одна из лучших поэм о комсомоле в советской поэзии. Комсомол — это моя извечная тема, и я был бы счастлив, если бы когда-нибудь написал поэму такого же высокого качества, как «Строгая любовь». Как велико-



лепны комсомольские характеры, как чудесно передана атмосфера тех дней!

Но Зинка, Зинка! Как же ты,
Каким путем, скажи на милость,
С индустриальной высоты
До рукоделья докатилась?

Впечатав пальцы, как в затвор,
В свою военную тельняшку,
На Зинку бедную в упор
Глядел, прицеливаясь, Яшка.

Наверно, так, сужая взгляд,
При дымных факелах Конвента
Глядел мучительно Марат
На роялистского агента...

Что ни строфа — то яркая картина твоей молодости, что ни глава — то воскрешение неповторимого. Поэма еще не закончена, и я с нетерпением жду ее продолжения, — по-дружески тепло и осторожно поведет меня Ярослав в царство воспоминаний — призрачное, но бесконечно дорогое царство.

1957

* * *

Ярослав!

Наступивший 1963 год чреват тяжелыми последствиями — тебе исполнится пятьдесят лет, мне — шестьдесят. Я совсем не убежден в том, что эти два исторических события будут отмечены многолюдными народными праздниками. Все будет протекать нормально. Ни один ребенок не заплачет, ни один милиционер не дрогнет. Ни один автомобиль не забудет, что он — двигатель внутреннего сгорания. Поэты об этом часто забывают.



Меня часто упрекают в том, что я больше каламбурю, чем доказываю. Я отбрасываю от себя это обвинение. Я считаю самым правильным способом излечения от недостатков — это или осмеяние, или гиперболизация их. Если мы будем бояться преувеличения недостатков, то мы должны отказаться от применения микроскопов в Советском Союзе — самые злостные микробы они увеличивают в сотни раз.

Ты родился зимой, — я летом. Твои снежинки начинают таять, мои капли — испаряться. Печально ли это? Нет. Нисколько. Давай разделим наступившие нам с тобой сто десять лет честно пополам. И тогда не будет ни наступившей старости, ни ушедшей молодости. Что же будет?

Будут молодые поэты. У поэзии масса преимуществ. Первое и самое главное ее преимущество — находить не для себя. Кого мне назвать из любимых нами поэтов? Назову Лермонтова и Блока. Такое у меня впечатление, что они в свое время предугадали, что поэт Михаил Аркадьевич Светлов поздравит поэта Ярослава Васильевича Смелякова с днем рождения. В чем их гениальность? В том, что они находили для нас.

Сколько я тебя ни помню, ты всегда искал для будущего. Это вовсе не значит, что ты забывал свое поколение.

Робенкий молодой человек входит в редакцию. Он хочет



стать популярным поэтом. Но это не ему предназначено. И вот тут начинается наша с тобой каторга. Отговорить бездарность куда труднее, чем поцеловать талант.

Что же я пожелаю тебе в твой день рождения? Я хочу, чтобы тебя любили ВСЕ (кроме капиталистов, конечно. Но их так мало осталось, что, боюсь, и на мой век не хватит).

Считай, что я одновременно и Иван Поддубный и Юрий Власов. Так крепко я тебя обнимаю.

1963

ДЛЯ НАРОДА

Петрусь Бровка — это моя молодость. Вместе с ним мы начинали писать стихи — он на белорусском, я — на русском языках. Что-то трогательное есть в воспоминаниях об этом времени, что-то очень хорошее.

Писать для народа научишься не сразу. Нужно с ним побольше пообщаться, вникнуть в его нужды, короче, все время быть с ним — с народом.

Очень просто сказать — я сейчас напишу стихи для народа. В таком случае получатся много раз уже кем-то написанные трафаретные стихи. Мы так и писали вначале, подчиняясь трафарету. Не было ни жизненного, ни поэтического опыта. Мы были слишком молоды. Но прошло время, и отношение к жизни, к народу и к своей профессии стало серьезнее, мудрее. Теперь ни я, ни сам Петрусь Бровка, ни широкий его читатель просто не можем представить себе, чтобы Бровка написал какое-нибудь произведение не для народа. Даже если захотел бы, не смог бы. И может быть, в этом и заключается самое большое счастье поэта.

Мы с Бровкой недавно совершили путешествие по Белоруссии. И я обнаружил в нем качество, которое сам мечтаю



обрести. Он растворяется в народе. С колхозниками — он колхозник, с городскими жителями — общительный интеллигент, со слесарями — слесарь, со студентами — студент, с любой матерью — белорусской — любящий и любимый сын. Нет, по-моему, в Белоруссии ни одного уголка, где бы не знали и не любили Петруся Бровку. Никакой преграды между ним и читателем. Ни одна возвышенность, ни одна река не разделяют их. Они плыли вместе и против течения и по более спокойным водам.

Я не собираюсь здесь детально разбирать его творчество. Да и не нужно это. Я просто приглашаю читателя полюбить этого хорошего национального и интернационального поэта так, как я его люблю.

* * *

Когда мне предложили высказать свое мнение о книге Петруся Бровки «А дни идут», я сразу заскучал. Заскучал потому, что мне не хочется писать рецензию.

Дело в том, что я знаю и люблю Бровку сто лет. И я буду знать и любить Бровку еще двести лет. И меня и его это вполне устраивает. Вот почему я предпочитаю не столько говорить о нем, сколько говорить с ним.

Дорогой Петрусь!

Я внимательно прочел твою новую книгу и задумался — что является главным в нашем ремесле? Рифма, образ, метафора? Уж, казалось бы, лучше и нет образа.

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

А между тем не это в Лермонтове главное. Главное заключается в том, что я беседую с ним спустя сто с лишним лет после его смерти. Значит, всякое искусство, будь это музы-



ка, живопись или стихи, всегда — беседа. Характерность этой беседы заключается в том, что все время говорит автор. Выслушав или познав его, ты имеешь возможность вдоволь самому наговориться.

Я тебя люблю за то, что ты умеешь беседовать. Будь ты в Полесье или в Америке, ты беседуешь со мной. Это драгоценный дар.

Ни к чему мне выдирать отдельные строчки из твоей книги. Эта вот хорошая, а эта плохая. Я не редактор твой, а друг твой.

Ценность поэта заключается в его особенности. Если все говорят звонким голосом, говори с хрипотцой. Но только твой голос не должен звучать как простуженный. Это должен быть голос не много говорящего человека, а хорошо и убедительно говорящего. Когда ты говоришь:

Не хватало, конечно,
Тем стихам красоты,
Но внимал им орешник,
Подпевали кусты.

Меня несколько удивила статья Ильи Сельвинского о тактовом стихе. Я об этом никогда не думал и, клянусь, думать не буду. Мысли об этом меня не беспокоят. Моя задача — достигнуть непосредственного общения с читателем. Можешь ходить хоть на голове, но если твой голос снизу лучше звучит, то ходи на голове. Не касается ли это тактового стиха?



Над гнездом наклоняясь,
Осененный сосной,
Добрый клеткотом аист
Соглашался со мной,—

я сразу вижу тебя. Тебя, умеющего писать только хорошие книги. Тебя, который может завоевать любую аудиторию. И я и мои друзья — русские писатели — убедились в этом, когда ездили с тобой по Беларуси.

Много, очень много хорошего в твоей книге. Главное в ней — это пульсация щедрого сердца. Это мое письмо тебе еще и упрек книготоргу — нельзя в нашей огромной стране издавать тебя только пятитысячным тиражом.

Когда ты пишешь:

Росли мы... Дни текли за днями,
Окрепи руки, плечи, грудь.
Омыты щедрыми дождями,
Утершись чистыми ветрами,
Мы выходили в дальний путь,—

мне кажется, что ты и меня имел в виду. Мы с тобой люди одного поколения. А вот когда ты пишешь: «Роца дремлет в тиши средь безжизненной хмури, но в глубинах души продолжается буря», — ты меня в виду не имей — я терпеть не могу банальностей. Но таких строк в твоей книге ничтожное количество. А общее впечатление от книги такое, как будто я сам ее написал. Такое впечатление должно быть у читателя от каждой хорошей книги.

Я желаю тебе счастья. Но я эгоист — я желаю себе того же. Будем жить и творить на земле и будем счастливы вместе со своими товарищами.

Р. С. Еще я забыл сказать, что тебя очень хорошо перевел Яков Хелемский.

1961



ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

Очень хорошему украинскому поэту Миколе Платоновичу Бажану исполняется пятьдесят лет. Добрую половину этого времени поэт отдал своему благородному делу — глаголом жечь сердца людей.

Не от имени литературоведов (я с этим делом не справлюсь), не от имени многотысячного читателя (читатель мне этого не поручал), а от имени сверстников, от имени людей, знающих и любящих Миколу Платоновича вот уже четверть века, видящих его в своих первых рядах, знающих каждый его жест и каждую интонацию, от имени поэтов, для которых вся жизнь и все творчество М. Бажана — *необходимая поэзия*, пишется эта статья.

В 1926 году вышла книга еще неизвестного двадцатидвух-летнего украинского поэта «Семнадцатый патруль». В то время советская поэзия не достигла еще даже десятилетнего возраста.

Как мы тогда путались! Нас тогда подчас увлекала «красивость» символизма и акмеизма, мы больше утверждали новое, чем создавали его. Мы еще точно не осознавали, что поэзия — это плоть народа, а не его призрак. Но все это было по-молодому, было темпераментно, и, главное, во всем этом сквозило неугасимое желание отобразить новую эру, новаторски участвовать в благородном, до той поры на земле не существовавшем деле.

Потеряли ли мы эти золотые качества молодости? Микола Бажан не потерял. Перечитаем его стихи «Английские впечатления». Темпераментный мастер пришел на смену темпераментному юноше. Зеленое яблоко стало наливным. Разве кому-нибудь придет в голову, что от этого яблоко «постарело»?



Часто мне приходится слышать от своих товарищей по ремеслу: «Вот какая у меня появилась чудесная строка!» Сама по себе эта строка, может быть, и хороша, но если она ничему не служит, если накопление чувств еще недостаточно, то она — эта строка — так и будет мерзнуть в твоём мозгу, как беспризорный в январскую ночь.

Поэма «Бессмертие». Эти три повести о товарище Кирове еще раз подтверждают великолепное качество Миколы Бажана как поэта и человека — он *умеет любить!* В этой поэме редкий человек показан редким поэтом. Поэт слился с образом. Герой и автор идут рядом. Можно было бы подтвердить это многочисленными цитатами, но, когда любишь, не всегда нужно детально доказывать это качество, любовь большей частью самодоказуема. Веришь мне, Микола, что мы все тебя очень любим? Доказывать правда не надо? Давай лучше обратимся к тем — прошедшим годам. Моя молодость идет рядом с твоей по улицам Харькова. Будущий депутат Верховного Совета СССР — еще совсем мальчишка. Мне даже кажется, что он специально отпустил себе раннюю лысину, чтобы казаться серьезней. Тогда еще был жив Михаил Голодный, поэт, о котором следует чаще вспоминать, чем мы вспоминаем. Все мы бы-



ли — начинающие. Как бы это опять пережить? Не придется.

Какие у нас желания, кроме желания мировой революции, какие были мечты? Была главная мечта — утвердить наше дело, которое мы тогда считали и сейчас считаем святым. Многие утвердили, и ты в их числе. Украина и Грузия, Узбекистан и Англия уместились на широких полях твоей поэзии. В Киеве и в Тбилиси, в Ташкенте и в любом другом городе нашей Родины ты одинаково дорогой людям человек. Может быть, я говорю с тобой слишком пафосно, но ведь пятьдесят лет бывает один раз в жизни. И когда у действительно близкого человека исполняется такой юбилей, хочется заведовать всеми колоколами и неистово бить в них. И если мне придется тебя лично поздравить, я, к ужасу всех поборников борьбы с алкоголизмом, подниму за твое здоровье и за твои успехи самый большой бокал, ибо человека, который не выпьет за здоровье юбиляра, не следует приглашать на торжество.

Я тоже кой-чего добился в жизни — я член бюро секции поэтов. От имени секции, от имени всех московских поэтов горячо обнимаю и поздравляю тебя.

1954





НАРОД И ЕГО ПОЭТЫ

Многие себе представляют народ, как солдат на параде,— все одинаковы. Но любой парад, как бы он ни был торжествен, всегда кончается. Солдаты расходятся по казармам, спустя некоторое время демобилизуются, и у каждого начинается своя жизнь. Значит, народ — это не миллионы одинаковых людей, это миллионы разных людей, устремленных к одной цели. Дворничиха подметает снег, ученый держит свой светильник науки, а поэт протягивает свою неизданную книгу. Надо обслуживать народ во всех его разных желаниях и необходимостях. Нужен и лубок и Третьяковская галерея, нужна и Уланова и самодеятельные танцы. Во всем этом есть своя прелесть. Нельзя все делать одинаково. Щи бывают не только супоточные.

Моя любимая аудитория — это комсомольцы, студенты и солдаты. Как бы я ни захотел стать колхозным поэтом, ничего не получится. Один солдат никогда не сможет обслужить весь фронт. Он поставлен на определенный участок. И я могу



стоять только на своем посту. Если я буду бегать по всему фронту, через мой пустующий участок проберется враг. Значит, когда партия говорит нам: «Служи народу!» — это вовсе не значит — будь одновременно и сталеваром и пахарем. Поэт — это не связной между народом и поэзией. Поэт родился в народе и, насколько он в силах, поэзию создает в нем. Иначе он стреляет холостыми патронами. Правда, холостой патрон производит такой же шум, как и настоящий, но где, кто и когда видел мишень, пробитую холостым выстрелом?

Преамбула становится несколько длинноватой, и я перехожу к самой сути. Дело в том, что мы далеко не всегда учитываем широкий диапазон, которым обладают песня и стихотворение. Написал стихок — и ладно. А между тем твой труд широкими волнами переливается по всему народу. Если ты работаешь по-настоящему, ты становишься по-настоящему дорог своему чи-

Каждое дело требует квалификации. Никто не может стать ни врачом, ни инженером без специальной подготовки к этим профессиям. А вот в поэзии многие считают, что никакой квалификации не нужно. Была бы так называемая «душа». Отсюда и идет массовая плохая любительщина. Около полувека я уже работаю в советской поэзии, и, если бы в поэзии все было так легко, доступно, разве я стал бы робеть перед тем, как написать стихотворение! Любительщина — враг всякого дела.



тателю. Он готов грудью своей защитить тебя в минуту опасности. Тебя видят все твои читатели, а ты знаешь только некоторых из них. Когда пишешь, надо представить себе, что ты их всех знаешь.

В доказательство вышесказанного приведу один пример.

То, что я сейчас расскажу,— не плод моего воображения. И вместе с тем это не желание показаться очень красивым в Отечественную войну. Я пришел в наш разведывательный батальон. На мне фурункулы горели как знамена. Но я виду не подал и улегся с разведчиками спать. Мы повесили брезент наискось от бронетранспортера. Ночью пошел дождь. Я проснулся в воде. Не было более несчастного населения на земле, чем мои фурункулы. Предстояла разведка. Я попросился. «Нельзя, товарищ майор, мы за вас отвечаем. Командир накажет». Но я их уговорил, и мы помчались. Командир нам действительно встретился, но впереди меня сидел такой широкий стрелок, что меня за ним невозможно было разглядеть даже под микроскопом. Я очень любил этих людей, и они меня очень любили. Они были молодые, я им сочинял не совсем приличные сказки, и дай мне бог еще такого вдохновения.

Дорога простреливалась. Стояла наша разбитая самоходка. Мы некоторое время блуждали и, наконец, пересекли передний край. Ни на одном заседании мне не было так скучно, как в этой разведке. В первой деревне никого не оказалось. Во второй деревне старик и старуха, глухие еще с восемнадцатого века, ничего нам объяснить не смогли. «Были немцы?» — «Кажись, были».

Пошли дальше. Томило июльское солнце. Я попросился обратно. Разведчики обрадовались. Я был им в тягость. И я пошел. У самого переднего края я попал под артиллерийский снаряд.



ция по сравнению с артиллерией — добрая внучка. Самолет я вижу в небе, а куда упадет снаряд — я не знаю.

Мы наступали до пятидесяти километров в сутки. Ни о каких окопах не могло быть и речи. Каждый солдат вырывал себе ямочку и спасался. Я бегал между этими ямочками и чувствовал себя как в коммунальной квартире — жить можно, но спастись негде. Наконец я нашел недорытую ямочку и постарался углубиться в нее. Девять десятых моего туловища было подставлено фашистской артиллерии, но она и на этот раз промахнулась.

Я поднялся и пошел к своим. И вдруг я слышу: «Майор! А майор!» Субординация — не мое отличительное качество. Я покорно подошел.

— Это правда, что вы написали «Каховку»?

— Правда.

— Как же вас сюда пускают?

Он был готов умереть раньше моей песни. Я был так

Праздники создаются в буднях.

Мы родились не на голой земле — и до нас были поэты. И у каждого из нас был свой предшественник — я говорю не о подражании, а об отношении к людям и к жизни.



взволнован, что так и ушел, не узнав его имени и фамилии. Я потом встречал этого бойца, но в образе других людей.

Как мало мы учитываем резонанс нашего писательского труда, значение его в воспитании благородных чувств.

И еще я вспоминаю свою недавнюю поездку на Алтай. Я с моим другом — режиссером Театра им. Ермоловой — изнемогали от жажды. В поисках воды мы зашли на МТС. И вдруг мы слышим:

Гренада, Гренада,
Гренада моя!

Во мне проснулось неожиданное честолюбие, мы вошли, и я сказал: «Я — автор!»

«Документы!» — потребовала девушка.

Я предъявил.

«Я думал, что вы куда моложе!» — разочарованно сказал юноша.

Не мог же я объяснить этим молодоженам, что не я виноват, не советская власть, а только время.

Потом я уехал в колхоз, а когда вернулся, девушка оказалась одна, влюбленный ее покинул. Подруги ее утешают: «Ты еще молодая, красивая, тебя еще знаешь какой человек полюбит!»

На что она ответила:

— Вы что думаете — мне спать не с кем! Мне просыпаться не с кем.

Я хочу просыпаться вместе со своим народом, со своим читателем и засыпать только тогда, когда я очень устану, с тем чтобы опять просыпаться и трудиться вместе с народом



СЕРДЦЕ РАСКРОЕТСЯ КРАСОТЕ

Можно за всю свою жизнь не написать ни одного стихотворения и быть поэтом. И наоборот, можно написать множество стихов и не иметь ничего общего с поэзией. Для того чтобы развить эту мысль, приведу несколько примеров.

В 1918 году в городе Екатеринославе (ныне Днепропетровск) умирал мальчик. Он был сыном владельца небольшого завода фруктовых вод. Фамилия этого мальчика была Фиалковский. Отец его был, очевидно, честолюбивым, и вода, которой он поил население, называлась фиалковой.

Детские впечатления — самые сильные. И поэтому мне до сих пор кажется, что сначала был завод фруктовых вод Фиалковского и только потом на земле начали расти фиалки.

Мальчик знал, что он умирает, но смерть свою встречал гордо.

— Миша! — обратился он ко мне. — Ты напрасно обидел Фриду. Я еще проживу несколько дней. За это время ты должен привести ее ко мне и при мне — слышишь, при мне! — извиниться перед ней. Исполнишь?

— Исполню, — ответил я, мало что понимая.

— В высшем начальном училище, где мы с тобой учимся, — обратился он к другому мальчику, имя которого я забыл, — за мою учебу заплачено за весь год. Скажи матери, что ей незачем ни у кого одалживать денег. Второе полугодие будешь учиться за мой счет.

Возможно, что мой рассказ несколько сентиментален, но этот мальчик распоряжался смертью, как собственным предприятием. В таких случаях «капиталист» совсем не обидное слово. Этот мальчик, даже не подозревавший, что на свете существует рифма, несомненно был поэтом.



Любить могут многие, а по-настоящему увидеть любовь может только художник.

Приведу пример из куда более позднего времени. В Отечественную войну в сорок четвертой бригаде служил разведчиком ленинградский мальчик Федя Чистяков. Это тоже не вымышленное лицо. Можете спросить о нем у моего друга — горьковеда Бориса Бялика. Он меня с ним познакомил.

В нашу армию прибыла с подарками делегация подмосковных текстильщиков. И Федя Чистяков влюбился в одну молодую ткачиху. Я с ней познакомился и до сих пор не понимаю, за что ее мог полюбить этот необыкновенно чистый мальчик. Как часто мы любим человека не за присущие ему качества, а за качества, которые мы наслаиваем на него. Чаще всего это бывает или в ранней юности, или в поздней старости.

Нам всем эта девушка резко не понравилась, и мы попробовали намекнуть Феде об этом. Он посмотрел на нас с такой ненавистью, что мы поняли: он не пожалеет истратить на нас весь заряд своего



автомата. Лучше не вмешиваться. Вот как умел любить этот мальчик. Он был поэтом. Через дней десять мы его хоронили.

За два дня до его гибели, возвращаясь с передовой, я встретил его и его любимую. Они были на конях. И мелкие деревья, шумевшие вокруг них, и нависавший над ними закат были чересчур правдоподобными и казались нарисованными очень плохим художником.

Грязь в тех местах была непролазная. На сто метров болот — один метр суши. И вот впечатление чистоты благодаря Феде Чистякову у меня осталось.

Я вам уже говорил, что можно напечатать множество стихов и не быть поэтом. Доказательств тут никаких не нужно. Зайдите в любой книжный магазин — и вы легко убедитесь в этом.

Теперь я подхожу к самой сути моей темы. Кого же я

Некоторая грусть необходима веселью, как молибден стали. Хорошая грусть лучше плохого веселья.



Поэт! Его задача заключается не только в том, чтобы состоять членом Союза писателей, а главным образом в том, чтобы вызывать у людей поэтическое отношение к жизни, к работе, к человеческому общению. Насколько тогда интереснее живется!

считаю поэтом? И что нужно сделать для того, чтобы стать поэтом?

Возможно, что в моих словах будет звучать некоторая высокопарность, но это не страшно. Можно в иных случаях быть и высокопарным и сентиментальным. Важно только, чтобы эти два не совсем точных чувства не работали на обывателя. Так вот, я ценю не столько самый подвиг, сколько подготовку к этому подвигу. Подвиг может и не совершиться. Важно только, чтобы ты к нему все время готовился. Время подвига коротко, подготовка к нему длительна. Бывает и так, что подвиг совершается случайно. Подготовка к подвигу случайной быть не может.

Титов летел вокруг Земли немногим более суток. А неужели он только сутки готовился к своему подвигу? Ясно, что он провел длительную, упорную и удивительно талантливую подготовку. И несомненно, что он все это время был поэтом. И его историче-



ский полет был как бы изданием многих и многих исправленных черновиков.

Я развиваю далее свою мысль. Можно выполнять и пере-выполнять план в любой работе и не быть поэтом. Во-первых, это можно делать в корыстных целях, во-вторых, исполнительность — это еще не талант. Без поисков ты только турист, с поисками ты открыватель.

Я утверждаю, что можно быть талантливым в любой области работы. Возможно, что я вам покажусь несколько парадоксальным, но я абсолютно убежден в том, что говорю. Можно ли быть талантливым кондуктором? Вам, наверно, такие не встречались, а мне такой встретился. Я несколько дней жил под его обаянием. Он с таким милым юмором и с такой доброжелательностью объявлял остановки, что Васильевская улица показалась мне венецианским каналом, а обувной магазин — собором Парижской богородицы.

К чему я призываю молодежь? Не к нарочитому стремлению быть обаятельным (это всегда противно), а к увлечению своим трудом, своей профессией. Таких молодых людей я, как член бюро, безоговорочно принимаю в секцию поэтов Союза писателей. Они, безусловно, поэты. И они, несомненно, веселые люди. И любят их не за какой-нибудь рассказанный анекдотец, а за их увлеченное жизненное состояние.

Что же такое настоящее увлеченное жизненное состояние? В первую очередь это душевная щедрость.

А что же такое душевная щедрость? Можно не иметь ни копейки денег и быть щедрым. Можно иметь массу денег и быть скупердьяем. Все зависит от отношения к заработанным тобой деньгам. Собираешь ли ты их для приобретения какой-то не очень нужной тебе, но удивительно «изящной» мебели или для того, чтобы прокутить их в один вечер? Мол, я не хуже русских купцов первой гильдии.



Я сравнительно легко переношу свои несчастья. Если ты настоящий художник, то твое счастье должно быть всеобщим, а несчастье, обязательно, конспиративным. Чем больше уходит несчастье в подполье, тем оно трагичней. Плачущая мать быстро исчезает из памяти, молчаливая мать — неисчезающий образ. Слезы — это не принадлежность лирики. Сдерживаемые слезы — это принадлежность лирики. Настоящее чувство принадлежит далеко не всем. Как я хочу, чтобы следующее за мной поколение научилось отличать чувство от демагогии.

И то и другое, на мой взгляд, отвратительно. О деньгах ты должен думать только тогда, когда ты их получаешь. Лично я счастлив не тогда, когда я получаю деньги, а когда их трачу. А когда я их трачу или как скупой обыватель, или как щедрый купец, я потом чувствую себя удивительно несчастливым. Что же такое деньги в моем понимании? Это подписанное министром финансов свидетельство о моем труде. А для чего я трудился? Не для мелких, но на первый взгляд очень красивых трат. Труд обязательно должен быть заметным, но деньги ни в коем случае не должны быть заметными. Иначе, получай ты хоть миллионы, будет такое впечатление, что все эти миллионы выдали копейками. Хоть грузчиков нанимай!

Я вот пишу эту статью и думаю: проверил ли я все это на себе? И счастлив ли я? Чем больше я думаю о себе, тем более я убеждаюсь в том, что я самый счастливый чело-



век на свете. Как же я проверил это ощущение счастья? И вообще, что такое счастье? Я не страдаю обилием философии, но просто хочу, как бы сидя с вами за столом, рассказать вам о своем понимании счастья. Почему я счастливый? Потому что я абсолютно убежден в том, что, когда люди меня потеряют, они грустят. Значит, я для чего-то и для кого-то существовал. Значит, я был на земле не только прохожим, но я вел куда-то людей и что-то им объяснял. Значит, я был не насекомым, а человеком. Не надо мне памятных. Я весь, со всеми своими кровеносными сосудами, хочу быть всегда со всем человечеством. Не важно, что это не получилось. Важно, что я хотел этого.

Следует сказать еще об одной вещи. Речь идет о воспитании вкуса. Привитый тебе с самой ранней юности вкус определяет и твою профессию. И, значит, он определит и твое

Банальность, так же как сентиментальность, обязательна в любом художественном произведении. Но когда они — эти сентиментальность и банальность — становятся самим блюдом,— это ужасно. Представляете — вы алчно поедаете горчицу, а сосиски только нарисованы на вывеске! Сыт не будешь.



поведение и твое отношение к людям. И, значит, в благоприятных условиях ты сможешь стать поэтом.

Вот о чем я, собственно, и хлопочу. Я хлопочу о том, чтобы молодой человек был интересным. Интересным не в данной компании и не в определенных временных условиях, а всегда и везде интересным.

Опять я перескакиваю на другую, казалось бы, очень далекую тему, но на самом деле очень важную для моей мысли.

Что такое пьяный человек? Пьяный человек — это человек, для которого не существует «завтра». Он должен все высказать сегодня. А завтра ничего не будет. Ни рассвет не поднимется, ни птицы не запоют, ни трудовые люди не выйдут на работу, ничего не будет. Только он — человек выдуманных «подвигов» — существует. Видите, как все эти далекие, казалось бы, темы лежат близко друг к другу. Пьяный человек — это человек без подготовки к подвигу. Подавай ему подвиг на блюде! Можно назвать такого человека поэтом? Нет!

Что такое поэзия и что такое поэт? Поэзия — это в первую очередь увлечение настоящим делом, а поэт — это тот, кто по-настоящему увлекается.

Нет бездарных людей. Только нам — постаревшим людям — ясно, в чем они талантливы.

Я очень люблю фантазировать. И мне представляется большое собрание комсомольцев какого-нибудь предприятия и единственная повестка дня — выборы поэта. Может быть, даже какой-нибудь значок надо учредить для избранных. Я убежден, что в коммунизме будут жить только поэты. Тогда все смогут быть поэтами. Очень вас прошу, мои молодые друзья, — если вы еще не поэты, станьте ими!

1961



ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Людам, лично знавшим и любившим Алексея Недогонова, радостно за читателей, которым он оставил эту книгу, написанную от всего его молодого сердца.

Стихи Недогонова можно узнать сразу, даже если под ними нет подписи. Большевик-поэт с резко выраженной творческой индивидуальностью, Недогонов не ограничивался словами: «Я люблю Родину». Он эту любовь очень убедительно доказывал, утверждал почти в каждом своем стихотворении.

Вот как начинается его «Баллада о железе»:

Говорят, что любой человек
состоит из воды и металла:
девяносто процентов воды,
остальное огонь и металл.

Кончается это стихотворение такими, характерными для Недогонова строками:

Я бы всю родословную
внуков
и правнуков отдал,
я пошел бы на то,
чтоб при всех,
под сияньем светил,
из меня златоустинский мастер
снаряды сработал
и чтоб их Железняк
в ненавистный Берлин вколотил.

В каждом стихотворении Недогонова — мысль большого накала, взволнованность предельного напряжения, — без этого Недогонов не брался за перо.



Перелистываешь сборник «Простые люди», вчитываешься в строки, чтобы выбрать наиболее сильные,— и невольно хочешь процитировать всю книгу целиком.

Поэма «Флаг над сельсоветом», включенная в сборник, в рекомендациях не нуждается. Она сразу стала известной в народе. Но если присмотреться внимательно к творчеству Недогонова, то можно заметить, что каждое его стихотворение звучит как маленькая поэма,— так оно насыщено мыслью и чувством.

Недогонов молод, так же как и герои его стихов:

Когда ученик в «мессершмитте»
впервые взлетал в высоту,
веснушчатый Саша Матросов
играл беззаботно в лапту.
Когда от ефрейтора писем
из Ливии фрау ждала,
московская девочка Зоя
совсем незаметной была...

Будущие герои, о которых пишет Недогонов, были сверстниками поэта.росло поколение людей, родившихся при советской власти и утверждающих ее всей своей работой, своими помыслами, жизнью. Росла молодежь, готовая к подвигу ради всечеловеческого счастья:

Только очень помнится,
что где-то
под Мадридом,
непогодь кляня,
у артиллерийского лафета
встал пушкарь, похожий на меня.

Жажда борьбы за освобождение человечества от рабства и угнетения никогда не оставляла Недогонова. И естественно,



что при первой же тревоге он встал в ряды защитников Родины. Его песни и стихи громко звучали в годы Отечественной войны. Он воевал и в первые трудные дни, и в дни приближающейся победы в частях, заслуживших благодарность Верховного Главнокомандующего.

Вся книга молодого поэта посвящена войне и победе над врагом. И только поэма «Флаг над сельсоветом» отражает наш послевоенный, победный период. «Простые люди» — так называется книга. Эти простые люди — русские солдаты, сам Недогонов и вы — молодые читатели его стихов.

...Моя первая встреча с Недогоновым произошла следующим образом. В клубе литераторов ко мне подошел молодой смуглый человек и робко представился:

— Я Недогонов. Сегодня читаю здесь свои стихи. Я очень прошу вас послушать меня.

Мы слушали его стихи. И всем присутствующим стало ясно, что существует еще один интересный и талантливый поэт. Об этом свидетельствовало горячее дыхание стиха, пульсирующая в нем жизнь.

Сейчас, когда поэта нет с нами, хочется повторить слова одного из героев его — «сына собственных родителей», гвардии сержанта Петрова:

Друзья мои,
поверьте мне,
мне, искрестившему в войне
гремучую планету:
на свете смерти нету!

И живой творческий источник со всей силой молодости продолжает бить со страниц новой книги Алексея Недогонова, так рано ушедшего от нас, в пору весеннего цветения своего большого таланта.

1948



С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ

Первая книга стихов Е. Винокурова тепло встречена критикой и читателем. Так и нужно встречать молодого хорошего поэта — не оркестром и не официальными приветствиями, а дружески разговаривая с автором, радуясь его успехам, отмечая недостатки и беспокоясь о его будущем.

Постараемся в этом порядке разобрать книгу: 1) успехи, 2) недостатки, 3) будущее.

В книге есть яркие куски и отдельные стихотворения. Если бы вся книга была написана на таком уровне, мы бы уже имели первоклассного поэта. Я приведу несколько четверостиший. Они доставляют радость самому взыскательному читателю.

И каменчик над городским рассветом
Встал не спеша пред кладкою стены
И взял кирпич движением, воспетым
Известными поэтами страны.

(«Утро»)

Вот и солнце, соседи!
В свежий утренний час
Поднимаетесь вы,
Распрямляете плечи свободно.
Сколько глаз на земле выжидающе смотрят
на вас!
Чем великим вы мир удивите сегодня?

(«Соседи»)

Мир, поднимаясь, стяхивал дремоту,
И с мощными руками за спиной,
Собравшись к первой смене на работу,
Друзья отца стояли надо мной.

(«Рождение»)



Коротко и выразительно написана «Русская природа».

Я не стану еще цитировать отдельные талантливые строфы и стихотворения. Хочу сказать поэту о том, чего он не знает или о чем только подозревает. Ему следует обратить внимание на две опасности, подстерегающие его.

Очень точная афористичность и подкупающая интонация (в полной мере свойственные Е. Винокурову), оставаясь без движения, начинают вянуть. Пейзаж в поэзии, как и в живописи, неподвижен. Но поэт обязан *двигаться* от пейзажа к пейзажу. В книге Е. Винокурова отдельные стихотворения похожи друг на друга не как брат на брата, а как портрет на оригинал («Пока есть в реках сила гнать камень» и «Я эти песни написал не сразу», «Уставы» и «Верность великому делу храня»). Пользоваться долго одной интонацией — это значит перейти на иждивение к этой интонации.

И вторая опасность: слишком большая раздумчивость снижает активность. Можно ударить и не ударить, но пальцы должны быть сжаты в кулак. А в «Стихах о долге» видны отдельные растопыренные пальцы, очень хорошие строки не сопровождаются достаточной темпераментностью.

Е. Винокуров выпустил первую книгу, но о нем никак нельзя сказать, что это — поэт начинающий. Можно сказать короче: это поэт. Кому много дано, с того больше и спросится. И читатель не устанет спрашивать.

1952

* * *

Десять лет назад вышла первая книга Евгения Винокурова «Стихи о долге». Конечно, радуешься каждому новому вспыхнувшему таланту, но я лично больше люблю таланты разгорающиеся. И это побудило меня тогда написать первую рецензию на первую книгу молодого поэта.



В каждой книге хороших стихов скрыт свой, пусть небольшой, но конфликт. Это не обязательно конфликт между поэтом и людьми, это еще, может быть, конфликт разных душевных состояний. И тогда книга не грозит монотонность, она становится интересной читателю.

Обычно молодые поэты начинают с «фокусов». Вот, мол, я какой необычный! Они еще не понимают, что самое трудное в поэзии — быть обычным. Надо научиться сидеть с читателем за одним столом, а не стоять отдельно и показывать фокусы. Меня самого этому научила жизнь. И доходят до моего читателя только те стихи, в которых я сердечно беседую с ним. Трибуна в поэзии не отдельное возвышение. Трибуна в поэзии — это когда ты сидишь во главе стола и все ждут — что ты хочешь сказать и что ты скажешь.

Сейчас вышла новая книга его стихов — «Лицо человеческое». Она составлена из четырех вышедших за десятилетие книг («Стихи о долге», «Синева», «Признанья» и «Лицо человеческое»). А на самом деле это итог пятнадцатилетней работы. Передо мной в одной книге развернулась судьба поэта, его радости и огорчения, его большие достижения и небольшие срывы.

Конечно, и самому поэту стало многое и виднее и яснее. Но мне важно другое: верно ли я поступил десять лет тому назад, поверив в дарование нового для меня поэта, или, как это часто бывало со мной, ошибся?

Нет, я не ошибся. Сейчас мне еще больше, чем прежде, приятно видеть Евгения Винокурова в числе своих друзей по ремеслу, и если раньше у меня была только надежда на него, то сейчас у меня полная уверенность в нем.

Сейчас 1961 год. Стихотворение «Уголь» было написано в 1953 году. Как же за эти



прошедшие восемь лет развивался и развился талант чумазого мальчишки, показанного в стихотворении? Для этого (прошу прощения у читателя!) надо еще раз внимательно его прочесть:

В работе не жалея сил,
Веселою весной
Я уголь блестящий грузил
На станции одной.
А было мне семнадцать лет,
Служил я в арtpолку,
Я в легкий ватник был одет,
Прожженный на боку.
Я целый день лопатой скреб,
Я греб, углем пыля.
И были черными мой лоб
И щеки от угля.
Я запахом угля пропах,
Не говорил, не пел,
Лишь уголь мелкий на зубах
Пронзительно скрипел.
Когда ж обедал иль когда
Я чай из банки пил,
То черною была вода
И черным сахар был.
С лицом чумазым, средь трудов,
Я рад был той весне.
Но девушки из поездов
Не улыбались мне.
Вдаль улетали поезда,
Как в фильме иль во сне,
Мелькнут, и только и следа —
Дымок на полотне.
Хотелось крикнуть что есть сил:
— Пойдите, поезда!
Пойдите! Я ведь не любил
На свете никогда!

Только талантливый человек может так резко «повернуть» стихотворение. Много мне приходилось читать стихов



о таких чумазых мальчишках, и обычно эти стихи кончались тем, что бывший мальчишка становился сознательным и вполне благонамеренным человеком. А Винокуров как нельзя лучше «сконтрастировал». Оказывается, это не умильные стихи о своей молодости, а стихи о первой любви, или, вернее, стихи о жажде первой любви. Мысль не катится по обычным рельсам, а грудью и плечами пробивает себе дорогу. Неожиданность поворота поднимает это стихотворение над многими другими, написанными на ту же тему.

Такие же тонкие и точные «ходы» мы заметим и в стихах «Акыны» и во многих других.

Первая и самая главная, мне думается, задача поэта в том, чтобы тебя было интересно читать. Читатель должен знакомиться только с таким поэтом, которого он никогда не спугает с другим. Винокуров принадлежит к числу таких поэтов.

Сейчас я перехожу к самому главному. Чем мне дороги и чем нам всем дороги наши любимые поэты? Богатством своих чувств? Конечно, они потрясают нас этим. Но это не самое главное. Хорошие и интересные люди жили во всякое время, и, может быть, мы о них ничего не знаем. Тем, что они звали вперед? Но и любая кляча, еле передвигающая ноги, движется вперед. Много я знаю поэтов, таким несложным способомдвигающихся в бессмертие. Вот почему я не доверяю поэтам, которые в миллион первый раз уверяют меня и других читателей, что они идут «к вершинам будущего». Это может понравиться только плохому редактору.

Я ищу в поэте совсем другое. Я ищу в нем одного из лучших представителей своего времени. Возьмем Лермонтова, Блока, Маяковского. Время видно в них, и они видны во времени. Предел моих мечтаний: когда-нибудь читатель, наткнувшись на мою книжку стихов, поймет не только меня,



но и время, в которое я жил. А это может произойти только в том случае, если я дорогие нам всем лозунги буду не машинально повторять, буду носить не как носильщик носит тяжелый чемодан, а как солдат несет свое знамя. Даже в последние минуты жизни знамя не может стать тяжестью. И поэтому, как бы ни было тебе иногда тяжело, не перекладывай свое усталое состояние на плечи читателя. Короче — мы знаем и любим своих больших поэтов не только потому, что они гениальны, но главным образом потому, что мы видим и понимаем то время, в которое они жили. Историки констатируют, а поэты показывают.

Почему я с такими требованиями подхожу к Евгению Винокурову? Потому, что я сам вот уже которое десятилетие бьюсь как рыба об лед над этим. А раз он меня — требовательного читателя — навел на такие мысли, значит, он — поэт настоящий. Я бы мог, конечно, указать на отдельные неудачные строчки в его стихах (у кого их не бывает?), но задача моя на примере одного из моих любимых молодых поэтов указать на необходимость дальнего прицела. Иначе ты останешься поэтом местного значения. Их много. Стоит ли увеличивать их число?

Ясная душа Евгения Винокурова видна в его книге. Его цели мне ясны. Я могу опереться на его плечо. Хотя надеюсь, что и мое плечо не стало настолько трухлявым, чтобы на него нельзя было опереться.

1960

* * *

Вот уже в третий раз пишу отзыв о книгах поэта Евгения Винокурова. В первый раз я написал о его творчестве более десяти лет тому назад и поздравил нашего читателя с появлением нового талантливого поэта.



Затем, сравнительно недавно, весьма положительно высказался о его книге «Синева». И вот сейчас постараюсь проанализировать его последнюю книгу «Лирика» — большой однотомник.

Что же заставило меня трижды высказываться о нем? Я ни разу так не поступал. А вот что.

За мою долгую жизнь через мои руки прошли сотни книг молодых поэтов. Не все их авторы достигли многого, но некоторые шагают в первых рядах советской поэзии, уровень которой в наше время поднялся высоко. И, естественно, повысился интерес к ней. На вечерах поэзии залы переполнены. Но я заметил в молодых поэтах одну особенность и постараюсь вам рассказать о ней.

Вы, наверное, видели силомер. На его циферблате четыре слова: «Слабо», «Средне», «Сильно» и «Очень сильно». В районе «Слабо» стрелка бежит с головокружительной скоростью. В районе «Средне» — значительно медленней. В районе «Сильно» — почти незаметно. А достигнуть «Очень сильно» у человека частенько сил не хватает. А ведь кажется все очень просто — преодолеть всего лишь несколько миллиметров. Но вот на эти самые миллиметры не у каждого человека хватает сил.

То же самое происходит и с молодыми поэтами. По шкале «Слабо» они бегут взапуски, по шкале «Средне» — медленнее, но все же бегут; задыхаясь, взбегают на «Сильно»; но преодолеть миллиметры, ведущие в «Очень сильно», далеко не каждый может. Вот почему у нас много хороших поэтов и сравнительно мало очень хороших. От этого многие книги стихов похожи друг на друга.

Я люблю Евгения Винокурова за то, что он уже довольно давно живет в районе «Очень сильно». Он ни на кого не похож. Многие молодые для того, чтобы быть непохожими,



начинают фокусничать, жонглировать словом, прибегать к необычной рифмовке (они рифмуют примерно «корова» и «кошка» только потому, что эти слова начинаются на «ко»).

Евгений Винокуров не такой. У него единый сплав мысли, чувства, мастерства и человечности. Для доказательства обратимся к самой книге.

В ней пять разделов: «Стихи о долге», «Синева», «Признанья», «Лицо человеческое» и «Слово». У меня нет возможности привести хотя бы по одному стихотворению из каждого раздела. Это заняло бы очень много места. И я прибегну к еще не практиковавшемуся приему: приведу по одной строфе из каждого раздела. Причем не буду тщательно отбирать их, а буду действовать наугад. Это происходит от моего убеждения в том, что у Винокурова не может быть пустой строфы. Можете мне верить, я никого не собираюсь обманывать.

Из раздела «Стихи о долге»
(тема войны):

**Художник — индивидуальность.
Если нет индивидуальности, ты
просто один из печатающихся
граждан. Не спешите печататься.
Не идите по этому пути. Идите по
пути риска.**



Сейчас, сжав автомат в руках
И сдвинув брови с жесткой волей,
Стоит он, бронзовый, в веках...
Его мы звали просто — Колей.

Из раздела «Синева» (раздумья о жизни):

Шла девочка со мной
Когда-то, где-то,
Беспечная
Мы плыли по реке...
Пять лет уже ночами до рассвета
Моя жена спит на моей руке.

Из раздела «Признания» (стихи о природе, о детстве, о любви):

Я все сумею вынести,
Лишь выстой
В те дни сама,
Спокойствие храня.
Одной лишь я страшусь,
Родной и чистой,
Слезы твоей.
Она убьет меня.

Из раздела «Лицо человеческое»:

Мы шли. Дорога далека!
Держались мы тогда непрочной
Мгновенной сложности цветка
И синей звездочки полночной.

И наконец, из раздела «Слово»:



Стихам своим служу. Я, как солдат, пред ними
Навытяжку стою. Как я дрожу
Под взглядом их. С ребячьих лет доньше
Им, своенравным, я принадлежу.

Почему же я прибег к такому необычному и весьма странному приему? Казалось бы, читатель по одной строфе не сможет вникнуть в суть самого стихотворения. А сделал я это по нескольким причинам.

Мне думается, что, так же как я по одному стихотворению могу установить мастерство поэта, так и читатель по одной или нескольким строфам может уловить атмосферу книги. Он может угадать интонацию творчества поэта. А угадать интонацию — это значит заинтересоваться. А интонация Винокурова — это лицо человеческое. Он хочет, чтобы, прочтя его стихи, так же как и любую хорошую книгу, человек стал хоть чуточку лучше. Убежден, что он достиг этой цели. По крайней мере в отношении меня.

1961

О ТРЕХ ПОЭТАХ

Мне было только десять лет, а мне уже хотелось быть борцом за справедливость. Мне казалось, что я сделаю благое дело, если спасу Алексея — сына царя Николая Романова — от революционеров. И вдруг я сейчас, на склоне лет, читаю стихи:

...И той же волною
Смыло чудовище злое,
С которым сразиться хотел я за царскую дочь...

Он за царевну, а я за царевича. Пол в таких случаях не имеет значения. Имеет значение устремление в справедли-



вость. К ней устремлялись и дети и народы, но и те и другие были несчастными.

Михай Бенюк на четыре года моложе меня. Это сейчас не важно. Это было очень важно, когда мне было уже четыре года, а он только собирался родиться.

С тех пор мы оба несколько постарели. Но мы не забыли народную веру в Ивана-царевича. Конечно, сейчас этот полуфеодальный аристократ не является для нас образцом поведения. Но в нашем детстве народ мог укладывать свои мечты только в существующие формы. Вот почему так много в фольклоре царей и их потомков. Царь-то у нас плохой, давайте подумаем о хорошем царе! Собственно, на этом и выросла гапоновщина.

Чем мне особенно понравился Михай Бенюк? Тем, что он не пошел по дешевенькому, но очень благополучному пути: «Ах, как плохо было до социализма и как прелестно живет при нем!» Это укор многим поэтам. Трудно не согласиться с тем, что дважды два — четыре, но ведь мы уже давно знаем таблицу умножения. А Михай Бенюк владеет высшей математикой социализма. Почитайте его чудесное стихотворение «Пионы». Это поэт сказал о социализме, а не кто-нибудь другой. Передать мечту о будущем через сознательного человека куда легче, чем через несознательного. Не важно, что человек констатирует, а важно то, что происходит вокруг него. Поэтому дети и старики иногда говорят такое, что нам, взрослым, стыдно — как же мы до сих пор так не сказали?

Я терпеть не могу длинные статьи. Трудно писать их, но еще труднее читать их. Но Михай Бенюк требует к себе большого внимания. Поэтому я еще поговорю о нем. Я позволю себе процитировать восемь строк из стихотворения «Поэтическое искусство»:



Пусть твой стих, как легкий
ветерок,
Приласкает травы полевые,
Пусть пробьется робко, как пушок
Над губою юноши впервые.

Пусть мелькнет из-за листвы
чуть-чуть,
Словно плод, которого нет слаще,
Или округляется, как грудь
Школьницы, за партою сидящей...

Все время неожиданная
убедительность! А я всегда в
своей работе стремлюсь к не-
ожиданной убедительности.
Почему же я прозевал эти
мысли и эти строчки? Завидую
Бенюку.

«Я исполнен доверия к со-
ветским читателям», — пишет
автор в своем предисловии.
И советские читатели исполне-
ны к вам полнейшего доверия,
Михай Бенюк. Цитировать вас
еще? Продолжать вас хва-
лить? Ладно, я это сделаю при
личном знакомстве. Надеюсь,
что оно состоится.

Может показаться стран-
ным, почему же я не мог огра-
ничиться одним хорошим поз-

Я хочу сказать несколько слов
о положительном герое в нашей
литературе. Когда ты его пред-
ставляешь своему читателю, ты не
думай о том, положительный он
или отрицательный, ты его видишь.
Когда ты пишешь, твой письмен-
ный стол должен стать плацдар-
мом, на котором сражаются чело-
веческие интересы. А как только
ты начинаешь задумываться, как
сделать своего героя на шестьде-
сят процентов положительным, а
на сорок процентов несколько худ-
шим, ты перестаешь быть близким
своему читателю. В стихотворении
ты не развешивающий продукцию
продавец, ты — творец.



том, а мне понадобилось целых три? Потому что мне захотелось в своей поздней ночной комнате (уже четвертый час утра) быть владельцем не одной хорошей картины, а целых трех. Приходите ко мне, читатель, в любое время любоваться ими. Я говорю о еще двух любимых мною художниках слова — Евгении Винокурове и Вадиме Шефнере.

Чем же мне дороги эти три поэта? Тем, что мне кажется, будто я сидел с ними за одной партой (фактически это невозможно, потому что для этого я должен был бы по два года оставаться в каждом классе), потому что, несмотря на разницу в возрастах, мы очень близки друг другу, и, значит, мне хочется быть четвертым при этой тройке.

Женя Винокуров. Поэт следующего за мной поколения. Я ему не предлагаю традиций, я ему предлагаю дальнейшую мою веру в него. Не откажетесь, Женя?

Есть ли в вашей книге недостатки? Конечно есть. Но ведь недостатков не бывает только у ангелов и гениев и у обыкновенных людей, которые могут скрывать свои недостатки. Я о них не буду говорить. Моя задача — привлечь к вам еще большее внимание читателя. Может быть, я только слегка упомяну о них. Но начну я с хорошего:

Бывало:

ветки наломая сухие,
Ударь кресалом и полой накрой,
И вот клочочек мировой стихии
Затеплится средь полночи сырой.

Среди январской темноты военной,
В унылую метель и гололедь
Он, тайна тайны,

из глубин вселенной
Возникнет, чтоб ладони отогреть.



Это очень хорошо. Но вот концовка этого стихотворения «Огонь» неверна:

Огонь в сердцах пророков
и провидцев
Огню тому вселенскому сродни.

На первый взгляд это кажется очень мудрым, а на самом деле это нарочная мудрость. Это очень легкая мудрость. Хотите, я (не потому, что я такой уж опытный мастер) придумаю такое же «мудрое» четверостишие:

Я верю: час разлуки сократится,
Планеты дальние... Они как будто
здесь,
И вот ко мне невиданные птицы
Летят из распахнувшихся небес.

Как будто «мудро» и как будто «красиво». А чтобы написать такое, надо только немного поупражняться. А у поэзии более простая и более сложная задача — найти обыкновенное в необыкновенном и необыкновенное в обыкновенном.

Если звезды разговаривают, как люди, это необычно-

Написав стихотворение, подумайте, с чего начать его.

Прелесть таланта в том, что он делает то, чего я не могу.

Душе не всегда необходимо пламя. Оно нужно главным образом тогда, когда ты борешься, а когда ты по-сердечному беседуешь с друзьями, нужен огонек, на который сбегаются зрители и читатели.



венно, но если они уже стали людьми и общаются между собой — это обыкновенно. Я обещал вам, что только вскользь упомяну о ваших немногочисленных недостатках, и вы знаете, что я — человек слова. Перехожу к вашим многочисленным достоинствам.

Прекрасно ваше стихотворение «Моя любимая стирала». Мне надоело читать стихи, в которых любовь доказывается. (Девушки, милые! Если ваши любимые «идейны», но бес-телесны, избегайте их как огня!) Вы, Женя, не показываете ни одного волшебного качества своей любимой, но меня абсолютно растрогало ваше отношение к ней. Пусть читатель у вас поучится, как надо любить. В этом одна из задач поэта.

Очень мне еще нравится «Цветы». Оно начинается:

Я не люблю названий по-латински
Растений, что встречаются в пути.
Ученый для какой-нибудь редиски
Способен сотни терминов найти.

Все это стихотворение глубоко человечно. Много, очень многое мне в вас нравится, но уже Вадим Шефнер яростно бьет копытом и просится в статью. Вадим Шефнер незаслуженно мало популярен. Это хороший, благородный поэт, и ленинградцы им гордятся. Он обладает удивительно тонким и точным подтекстом. Для того чтобы не быть голословным, я приведу целиком одно его коротенькое стихотворение:

БЕРЕГА

Рекой разлученные берега
Глядят друг на друга с грустью:
Река широка, река строга,—
Одного к другому не пустит.



Пройдут века, иссохнет река,
Подводные травы завянут,
Сойдутся далекие берега,
Обычной сушею станут.
Сойдутся два берега-старика,
Пожалуются при встрече:
— Вот то ли дело — была река,
А нынче умыться нечем.

Многие считают, что юмор — это анекдоты. А ведь что такое анекдот? Анекдот — это одолженный юмор. Сам не можешь, вот и одалживаешь. Ваш юмор — не одолженный. Он чеховского порядка. Вспомним «Толстый и тонкий». Это, конечно, очень смешной рассказ, но вместе с тем он чрезвычайно трагедийный. В нем видна вся николаевская Россия, в нем видно унижение человека, старающегося продлить свое существование.

И у вас есть свои недостатки. Скажем, в стихотворении «Апрель»:

Из песенки-сказки, что в юности снилась,
Пришла ко мне только вчера.

Здесь чувство заменено демагогией. Здесь красивость вместо красоты. Но такие стихи, как «Прощание», «Эхо-птица», «Комиссар», «Тень прошлого» и многие-многие другие, кажутся мне очень хорошим подарком в день моего рождения.

Я нарочно перестал цитировать вас. Пусть читатель купит вашу книгу и сам познакомится со всем тем хорошим, что у вас имеется.

Вот кратко все то, что я могу сказать о трех поэтах, которые мне очень близки.

1962



ЛИРИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сдержанный темперамент вовсе не означает отсутствия темперамента. Конечно, пылкий темперамент слышнее, он больше обращает на себя внимание, но ведь тихие дожди приносят земле не меньшие урожаи, чем грозы. Лично я не поклонник страстного крика, переходящего в шепот. Ровный и добрый голос друга чаще необходим людям, чем набат. Набат — это исключительный случай, голоса друзей — ежедневны.

У Марка Шехтера ровный и добрый голос, крепчающий от книги к книге. Пишет ли он о родном городе, пишет ли о природе, он обладает чувством глубокого убеждения. Особенно хорошо он показывает природу, очеловечивая ее. Маленькое стихотворение «После грозы» заканчивается так:

Славно дышится на рассвете!
Сизый лес и зеленый сад
Со слезами в глазах,
 как дети
Провинившиеся, стоят.

А вот как показан тюльпан:

Как в позавчерашнем столетье,
Стоит он, в шелка разодет.
Точь-в-точь на дворцовом паркете
Обласканный славой поэт.

Но не только мягкая лирика свойственна поэту. Интонация крепнет, когда он говорит о родном городе:

Пойте, трубы Брянского завода,
Говори, днепровская вода,
Запорожской смелости природа,
Занимай сердца, как города!..



Есть в этой книге прекрасное, на мой взгляд, стихотворение. В нем всего двенадцать строк, и я не могу удержаться, чтобы полностью не привести его.

ДОМ НА УЛИЦЕ ГЕРЦЕНА

Вот в этом доме жил Суворов!
Простецкий, цвета елки дом...
Неукротим солдатский нор, —
Что бился в сердце молодом.
Снимите шапки, россияне,
Минуя старый особняк.
Там, вечной славой осиянный,
Еще звучит владельца шаг.
Вот-вот откроется окошко
И закричит хозяин сам:
«Эй, поворачивайся, Прощка,
Я по державным зван делам!..»

Мы видим, что диапазон поэта весьма широк — от лирического откровения до гражданской взволнованности. И мне хочется эти короткие заметки закончить обращением к автору:

Дорогой Марк! Ты никогда в поэзии не кричал. Продолжай говорить своим тихим и убедительным голосом. Тебя все равно слышно.

1962

ГОРЯЧИЕ СТРОКИ

Некоторые люди считают, что расстроенность чувств — это и есть лирика. Дескать, он ее любит, а она его нет — вершина конфликта в лирическом стихотворении. Наступающая осень символизирует собой приближающуюся



старость,— ах, как трогательно! Пейзаж, на фоне которого пасутся две-три коровки,— ах, какая наблюдательность!

Все это, конечно, неверно. И это с неотразимой убедительностью доказывает очень хороший поэт Расул Гамзатов.

Главное достоинство его лирики в том, что она в первую очередь *энергична*. Какое бы стихотворение вы ни прочли в его последней книге, в нем обязательно присутствует активно действующий человек.

У Расула Гамзатова много здорового, свежего юмора. Это юмор не развлекательный, не снижающий лирического накала стихотворения, а, наоборот, повышающий его юмор входит в стихи Гамзатова, как молибден входит в сталь. Для примера прочтем и разберем «Стихи о времени» в очень хорошем переводе Н. Гребнева. Они начинаются так:

Летит по бездорожью, по дороге,
Минуя рубежи веков и стран,
Скакун неукротимый,
 быстроногий,
И нет на нем узды, и нет стремян.

Ему, как дорогому гостю,
 «Здравствуй!»
Мы говорим с улыбкой на губах,
Себя вопросом мучая не часто:
«Он или мы, кто у кого в гостях?»

Добрая улыбка поэта чувствуется в строках, которые другой, менее даровитый автор написал бы «всерьез», сокрушаясь о том, что вот время идет и человек от этого не молодеет.

И в другом стихотворении из этого же небольшого цикла:



Ты спешишь. На деревьях желтеет листва,
Хлещут ливни, мутнеют потоки.
И неделю смололи твои жернова,
Я неделю писал эти строки.

Слушай, чертова мельница,
короток путь,
Что дано совершить человеку.
Поломать тебя, ось твою, что ли, согнуть,
Перекрывать бесноватую реку?

Здесь во всю свою мощь пробивается энергия, о которой я говорил выше. В теле стиха переливаются бицепсы, задумчивость не переходит в раздумчивость, возбужденность не превращается в экзальтацию. И заканчивается цикл:

Часы идут,
и тикают, и бьют...
Что сделал ты, прислушиваясь к бою?
Или пришлось вести им счет минут,
Бессмысленно растраченных тобою?!

Много, очень много хороших стихов в этой книге. Естественно, что я не могу их все процитировать в коротком отзыве.

Прочтя книгу Расула Гамзатова, я обнаружил одно отличное качество поэта: в каждом его стихотворении пружинит мысль, ни одно из них не бездумно, ни одно из них не написано потому только, что у автора появилось желание рифмовать.

То, что я написал об этой книге, не рецензия. Это рекомендация. Горячо рекомендую читателю: прочтите книгу стихов Расула Гамзатова. Это очень хороший, настоящий, интересный поэт.



ЖИВОЙ ГОЛОС ПОЭТА

Нельзя жаловаться на то, что у нас мало пишут стихов, или на то, что у нас мало талантливых поэтов. Того и другого у нас много. Но значительно реже можно встретить сейчас человека, который на прогулке или за работой с наслаждением бубнит себе под нос чрезвычайно понравившееся ему *стихотворение*. Молодежь весьма часто поет песни советских композиторов и значительно реже запоминает стихотворения советских поэтов. В журналах часто печатаются стихи, то есть собранные строчки — отдельные пальцы стихотворения. Реже встречается удар сжатым кулаком по сконцентрированной теме.

Я постараюсь пояснить свою мысль. Я подразумеваю под стихотворением живой организм с замкнутой кровеносной системой, а стихи — это мясо и кровь стихотворения, но без пульсации.

Идет паренек по Алтаю, стоит пограничник в дозоре, матрос качается в корабельном гамаке, — и все эти люди, строчка за строчкой, вспоминают поразившее их стихотворение. Я считаю, что для поэта нет большей радости, чем быть автором этого стихотворения.

Недостаточно взять читателя за руку и идти с ним рядом по трудному жизненному пути. Читатель согласен и на это: во-первых, потому, что считает поэта владельцем секрета красоты, и, во-вторых, потому, что уверен, что ты большой поэт, чем есть на самом деле.

Поэт, прозаик, музыкант, художник должны не только идти рядом со своим читателем, слушателем, зрителем, — они должны его *вести*! При этом надо следить за тем, чтобы не произошло то, что произошло с некоторыми композиторами. Они стремительно неслись, как им казалось, вперед, по «рав-



нинам искусства», а когда им пришлось осмотреться — вокруг никакого народа, и музыки их не слышно в самые мощные громкоговорители: слишком велико расстояние оказалось между творцом и народом.

Я прошу извинения у Константина Мурзиди за то, что, начав писать о его книге, о нем еще ни разу даже не упомянул. Однако я хочу, чтобы эта статья прозвучала для читателя как маленькая повесть о хорошем поэте.

А Мурзиди действительно хороший поэт. Книжка открывается именно *стихотворением*. Оно небольшое, и я его цитирую полностью, чтобы показать то, в чем я, может быть, и неправ, но что я люблю.

ПИСЬМО

Письмо его написано в пути.
Оно сквозит любовью неподкупной...
То мелко, неразборчиво почти,
То чересчур размашисто и крупно
Ложились на листочке небольшом
Строка к строке — и все с наклоном разным.
Две первых строчки написал он красным,
Другие две — простым карандашом,
Последние — чернилами, с нажимом,
Не сбившись, запятой не пропустив,
Как пишут на предмете недвижимом,
На возвышенье локоть утвердив.
Что было тем устойчивым предметом?
Дорожный камень, ящик иль седло?
За столько миль письмо меня нашло,
И понял я по всем его приметам,
Как иногда в походах тяжело,
Хотя в письме не сказано об этом.

Это хорошее стихотворение. Но не лучшее в сборнике. Такие стихи, как «Во льдах», «Я помню, молча двигались пол-



ки», «В тесной землянке», «Шаги бойцов» и другие, могут войти в хрестоматию. Патриотизм, не внешний, а пробивающийся сквозь все поры стихотворения, точная и всегда интересная мысль, предельная сжатость, четкая индивидуальность — вот черты К. Мурзиди как поэта. Я не хочу цитировать строфы — это всегда обедняет. Есть книжка, и ее надо прочитать. Мое дело — представить поэта не только уральского, «областного», а поэта, идущего в первых рядах нашей литературы.

Он идет не позади хороших поэтов, а рядом, об руку с ними.

Значительно слабее стихов поэмы «Ерофей Марков» и «Братья». Они сильно отдают литературщиной — то есть в них течет искусственная кровь. Особенно это заметно в «Братях».

Есть у К. Мурзиди крупный недостаток: он погружен только в свой Урал.

Я понимаю, что это такая тема, которой хватит не только на одну, но и на несколько жизней, но я уверен, что и самому Мурзиди было бы приятней, если бы и сами уральцы говорили о нем не только: «Он хорошо пишет о нашем Урале», но и шире: «А он ведь наш — уральский!» Возвращаться к теме Урала Мурзиди надо всю жизнь, но вместе с тем ему надо расширять свой творческий диапазон. Иначе он может стать однообразным.

Может быть, в этом виноват не сам Мурзиди, а редактор книги, который, задавшись благою целью показать поэта как уральца, все же сильно ограничил наше поле зрения.

Ни в одной антологии, посвященной тридцатилетию Октябрьской революции, Мурзиди нет. Почему? Ни в одной статье, посвященной достижениям советской поэзии, Мурзиди нет. Почему? Разве для этого надо жить только в Москве



или в Ленинграде? Или, быть может, список популярных поэтов незыблем и его нельзя раздвинуть, чтобы вставить имя еще одного хорошего поэта?

Очень трудно точно определить качества настоящего стихотворения. Поэт, мне кажется, определяет поэта по чувству зависти: «Почему не я написал это стихотворение?» Я завидую Константину Мурзиди.

1948

О КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ

В книжке Ксении Некрасовой «Ночь на баштане» всего тринадцать небольших стихотворений и крохотная поэма. И нет ни одного стихотворения, в котором читателю не явилось бы что-то необычайно светлое и чистое. А пейзажи иногда просто поражают — в них природа не только переливается своими необыкновенными красками, в них еще видно непосредственное и подкупающее нас отношение к этим краскам. Если выразиться театральным языком, то сверхзадача всего творчества Ксении Некрасовой — единство природы и человека. У нее цветы как люди и люди как цветы.

Я не стану в коротком отзыве цитировать все то, что мне понравилось в этой книжке.

Не понравились мне только легенда деда в поэме и ответ на нее Одарки (особенно последний). Такого я уже много читался, особенно в поэзии наших братских республик, — вот как раньше было плохо и вот как теперь хорошо! Раньше нас угнетали, а теперь в нашем поле ходит наш трактор. Спасибо такому-то товарищу за счастливую жизнь! Тему освобождения народов надо подавать свежее и ярче.



Самое сложное и трудное в поэзии, как и вообще в искусстве,— это быть естественным. Мастерство — это высшая естественность.

Скромность вовсе не заключается в том, что ты отказываешься от славы. Скромность — это прежде всего тактичность.

Жаль, что мне уже много лет. Но для создания коммунистического общества я, как и всякий советский человек, должен напряженно трудиться. И трудиться не только потому, что я осознаю необходимость своего труда, но и потому, что вера в коммунизм стала смыслом моей жизни.

В целом, принимая Ксению в союз, мы приобретаем талантливого товарища, у которого есть такие душевные достоинства, которых мы, бывает, лишены. А членский билетик поможет ей продолжать работу и облегчит ее весьма трудное бытовое положение.

ЧУВСТВО РАЗМАХА

Чем глубже проникаешь в поток времени, тем явственней возникает железный закон бытия. Время регулируется не количеством прожитых дней, а тем, что за эти дни сделано. Но мы допустим непростительную ошибку, если в таких измерениях будем опираться на факты только собственной биографии. В таком случае беседа будет всего лишь застольной. Время надо видеть, и анфас, и в профиль, и во всех его измерениях. Как ты прожил отсюда досюда — это может интересовать только очень близких тебе людей, а их не так уж много. Для того чтобы



быть общественно полезным художником, отрезки измеряемого тобой времени должны находиться между одной исторической вехой и другой. Если так измерять время, то можно, соблюдая нужную скромность, заняться и этапами любой отдельной человеческой судьбы.

То, о чем я говорю, особенно важно в искусстве и, главное, в поэзии. Важно не только твое существование, важно главным образом то, что происходило во время твоего существования и как ты донес до читателя проходившее при тебе время.

Год прошел после XXII съезда партии. Будь я ученым-статистиком, я бы подробно и кропотливо перечислил все наши многочисленные достижения, не побоялся бы и пафоса, чтобы цифры не выглядели уж совсем сухими. Но я — поэт и этот прошедший год определяю не менее точным мерилом — по чувству размаха. Этот размах определяется не только нашим вторжением в космос, не только

Каким образом я узнаю качество книги! По манере приглашения. А книга — это всегда приглашение. Поэт приглашает меня в свой мир, на свою родину, к удивительно интересным людям. Идти в будущее всем нам очень интересно, а идти в прошлое — невозможно. В прошлом можно только оставаться. И когда я читаю наших великих поэтов девятнадцатого века, мне кажется, что они пригласили меня в свой век, но с условием как следует прожить на своем веку с тем, чтобы достойно войти в будущее.



массовым ощущением трудового героизма — этот размах ощущается и на родной мне почве, в среде советских писателей. Молодежь стала поистине пытливей. Она, эта молодежь, горячо и творчески спорит. Глядя на наших молодых поэтов, и мы, куда более старшее поколение, поднимаем наши руки для размаха. Мы хотим быть артериями страны, участвовать в ее живой бесперебойной пульсации. Вот почему у нас, у страны, у народа, у партии, и, естественно, у нас, советских поэтов, остается чувство вечной благодарности XXII съезду за внушенное нам все растущее чувство размаха.

МЫ, КАК ЗНАМЯ, ПОДНИМЕМ ПЕСНЮ

Человек и песня. Для меня сочетание этих слов звучит так же, как, скажем, «человек и воздух». Я не знаю людей, которые могут обходиться без воздуха. Песня — наш фанфарист в светлые дни радости... Мы приникаем к ней, как к единственному другу, когда на нас находит грусть. А в бою песня встает комиссаром перед самым передним окопом.

У каждого народа в песне своя душа. В советской песне, как и во всякой революционной песне, заключено нечто большее. В ней средоточие светлых чувств, напряжение воли и призыв к борьбе. Наши песни — это наши маленькие программы. И наша история, рубежи жизни. На моем столе рядом с незаконченными рукописями лежит томик песен революции. С Октября до наших дней. Листая страницу за страницей, можно руками потрогать живую историю.

— Мы пойдем к нашим страждущим братьям...

— Вздыхайся выше, наш тяжкий молот!..

— Дан приказ: ему — на запад, ей — в другую сторону...



- И тот, кто с песней по жизни шагает...
- Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...
- Песню дружбы запеваает молодежь...
- Едем мы, друзья, в дальние края...

Не надо мне рыться в исторических архивах, чтобы определить и понять время, когда родились эти строки. Каждая из этих песен — чистое зеркало своего времени. Одна исчисляет свою жизнь годами, другая — десятилетиями. И в то же время у них нет возраста. Песни — нестареющее оружие.

По тому, *как и что* поют молодые люди, можно судить, о чем они мечтают, как живут и чему мы их учим. Да, да, песня — это и учебник. Это — оружие в науке убеждать, трудно выковываемое, но зато и весьма действенное. Мне однажды признался Маяковский, этот прирожденный «агитатор» и «горлан»:

— Как жаль, Светлов, что я в моей жизни не написал ни одной песни. Я был бы так счастлив, услышав, как молодежь поет мои песни...

Когда-то я утешал друзей-однополчан, потерявших в бою мечтателя-хохла и песню о его Гренадской волости:

Новые песни придумала жизнь...
Не надо, ребята, о песнях тужить.

И жизнь действительно придумывала замечательные песни. Об Орленке, которому так хотелось жить и которому так нужна была победа. О любимом городе, которому так необходимы покой и счастье. О соловьях, растревоживших солдат. О первой целинной борозде... Но почему сегодня вдруг захотелось тужить о песне? Я уже стар и редко бываю на со-



браниях молодежи, но мне иногда кажется, что нынешний комсомольский вожак не часто вспоминает о своем первом замполите — революционной песне.

Раньше свои комсомольские собрания мы начинали и кончали песней. Это был величественный революционный ритуал. И песня для нас не была просто мелодией и набором слов. Она была торжественной клятвой, которую иной раз можно было «заслушать» вместо доклада и «принять» вместо постановления. Уверен, что революционная песня по-прежнему должна состоять на учете у комсомола. Думается, что такая песня должна составлять основу репертуара в первую очередь молодежных ансамблей, а не только хоров старых большевиков. Хорошо представляю себе даже пленум обкома или ЦК, предметом которого станет песня. И уж вовсе отчетливо слышу занятие политкружка, построенное на истории одной-двух песен.

Но чтобы взвилось знамя, мало только вынуть его из чехла. Нужны знаменосцы с сильными, как у Павла Власова, руками. И дыхание времени развернет полотнище над головой.

Каждое время требует своих песен. Мы можем петь старинные романсы. Но писать романсы в старинном стиле мы не имеем права. Если одна песня повторяет другую, она забывается очень быстро. Если песня пишется по заказу Музгиза и к ней непричастно сердце, песня не поется даже самим автором. Быть может, этот разговор не для всех, но он чрезвычайно важен.

«Подмосковные вечера» не были написаны ради заданной идеи. И поэт Михаил Матусовский и композитор Соловьев-Седой не случайно встретились и принесли такую радость людям. За их песней видны и их биографии, и огромная лю-



бовь к людям, и высокий уровень квалификации. Все это они вынашивали всю свою жизнь. Богатая песня не может быть создана без богатой биографии.

Как же взять эту высоту, которая называется песней?

Стар я или молод? И то и другое! Стар, когда общаюсь с молодыми поэтами. Совсем юн, когда меня тянет к комсомольской песне. Как она, эта песня, создается? Если бы это было известно, то песен у нас было бы уже больше, чем комсомольцев. Точных рецептов создания песни я не знаю. Но кое-каким опытом могу поделиться.

Когда хочешь узнать, как устроен механизм, надо сначала разобрать его на части. А потом собрать. Так я поступлю и в данном случае. Я разберу нехитрые детали моей «Каховки», а вы, дорогие комсомольцы, соберите их.

Однажды неожиданно ко мне явился ленинградский кинорежиссер Семен Тимошенко. Он сказал мне:

Я, безусловно, абсолютный невежда в музыке, но для меня композитор может быть очень интересным. Я люблю Бетховена и Чайковского не потому, что они общепризнаны, а потому, что, когда я их слушаю, с меня сползает ненужная бытовая шелуха, я становлюсь намного более открытым, и степень одаренности композитора я определяю по тому, что и как я думаю, когда слушаю его музыку. Плохую музыку я мгновенно узнаю по ее административности. Она мне приказывает — будь веселым или грустным, а я в это время думаю о том, что мне нужно сегодня зайти в редакцию, или что у меня выключат телефон, если я вовремя не внесу плату за него, или о чем-либо другом, будничном. Короче, я не выполняю распоряжения плохой музыки — быть веселым или грустным. Хорошая музыка делает любого человека тоже талантливым, любого слушателя творческим человеком, плохая музыка — это автомобильные гудки, мешающие думать.

Я поехал на целину, на Алтай, и увидел там очень много хорошего и довольно много дурного. Но, несмотря на дурное, я видел зная, которое ничуть не склонилось, а поднялось еще выше.



— Миша! Я делаю картину «Три товарища». И к ней нужна песня, в которой были бы Каховка и девушка. Я устал с дороги, посплю у тебя, а когда ты напишешь, разбуди меня.

Он мгновенно заснул.

Каховка— это моя земля. Я, правда, в ней никогда не был, но моя юность тесно связана с Украиной. Я вспомнил горящую Украину, свою юность, своих товарищей... Мой друг Тимошенко спал недолго. Я разбудил его через сорок минут.

Сонным голосом он спросил меня:

— Как же это так у тебя быстро получилось, Миша? Все сорок минут прошло!

Я сказал:

— Ты плохо считаешь. Прошло сорок минут плюс моя жизнь.

Дело в том, что без накопления чувств не бывает искусства.

Зачем я все это рассказываю? А затем, чтобы многие молодые поэты не пытались нарочно быть интересными.

Яблоко совсем не понимает, что оно — вкусный плод. Оно питается соками своего дерева. И поэтому оно вкусно. Но как бы ни было красиво нарисованное яблоко, его есть нельзя. Поэтому молодые поэты больше всего должны бояться нарисованной интересности.

То ли я так воспитывался, то ли мне привиты другие вкусы, но когда я, к нашему общему сожалению, вижу девушку нарисованной интересности, с глазами, на которые ушло больше красок, чем на все картины Рембрандта, мне хочется сказать ей:

— Девочка, пойдй умойся!

Мне хочется сказать ей:



— Знаешь, что самое красивое в женщине? Небрежный взмах расческой, а не лошадиные хвосты на голове.

Как это ни далеко от основной моей темы, но все это имеет отношение к комсомольской песне. Я категорически отказываюсь писать песни для девушек с лошадиными хвостами на голове! Мне нужны ясность и доверчивость молодого взгляда.

Комсомольская песня на болоте не растет. Но песня не растет и на газоне. В чистом поле, на диких тропках и на людных улицах городов рождается песня. Люди воюют в жизни, трудятся, улыбаются вам, и именно об этих людях и хочется писать песни.

Еще несколько слов я хочу сказать своим молодым коллегам. В создании песни, как и в любом деле, необходима спортивность. Я уже давно не играю ни в одной футбольной команде, но я должен быть убежден в том, что лучший футболист Советского Союза все же играет хуже меня.

Я принадлежу вам, комсомольцы, как старый мотор новому автомобилю. Я еще послужу вам, ребята! На счетчике уже много тысяч километров, мотор фыркает, но тянет. Ну и пускай фыркает, брал бы высоты!



Поэтому я обращаюсь не к своим сверстникам, с которыми меня соединяет множество воспоминаний, не к Жарову, не к Безыменскому,— я обращаюсь к молодому поколению поэтов: к Евгению Евтушенко, Андрею Вознесенскому, Белле Ахмадулиной и ко многим другим молодым талантливым поэтам. (Вопреки некоторым пессимистам, я абсолютно убежден в том, что уровень нашей поэзии сейчас поднят весьма высоко.)

Я обращаюсь к ним с наглым старческим предложением:

— Давайте посоревнуемся! Не так уж сильно я задыхаюсь в искусстве.

Кто из нас в течение полугода напишет лучшую комсомольскую песню?

В этом нашем соревновании никакие организации не должны трогаться на премии. Победенные складываются и покупают победителю то ли телевизор, то ли холодильник, то ли полное собрание сочинений поэта Василия Журавлева.

Давайте напишем песни, помноженные на огонь нашего сердца, опыт, любовь к своему замечательному поколению.

1962

ПАСПОРТ ПОКОЛЕНИЯ

Для меня, как и для всякого советского поэта и гражданина, каждый съезд нашей партии — как бы день рождения новой эпохи. От съезда к съезду растет и мужает наша страна, расправляются ее плечи, все мощнее становится движение вперед. И вот XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза закончил свою работу. Программа строительства коммунизма принята. И не только принята,— после съезда прошли считанные дни, а отовсюду, из близких и



дальних мест, приходят вести: Программа воплощается в жизнь. Она стала законом нашей жизни.

Сейчас, когда вы читаете эту статью, новая Программа нашей партии уже вступила в действие. Уже идет металл, уже ток новых электростанций несется по проводам, уже с конвейеров сходят станки, о которых мы вчера только читали в Программе, и космос уже приготовился к приему новых советских космонавтов,—Программа партии воплощается в жизнь!

Партия поставила задачу — за два десятилетия заложить основу коммунистического общества. Советские люди полны решимости выполнить поставленную задачу в более короткие сроки.

И мне невольно вспоминаются слова Вл. Маяковского:

А моя
страна —
подросток...

Они прозвучали в дни десятой годовщины Октября. Прошло лишь немногим более тридцати лет. Срок для истории ничтожный. Но посмотрите, как возмужала за это время Страна Советов. Говорят, зрелость приходит к человеку после того, как он построит дом, посадит дерево, убьет змею. И эта зрелость пришла к моему народу. Он возвел тысячи городов, построил сотни гигантских электростанций и заводов, вызвал к жизни миллион гектаров земли, не знавшей ранее плуга, посадил в пустынях сады. Он раздавил страшную змею — фашизм. Да, он возмужал, мой народ — строитель, садовод, воин.

И мне, поэту, видится в новой Программе символический паспорт, врученный XXII съездом партии тому самому подростку, о котором писал Маяковский в поэме «Хорошо!».



На первой странице этого паспорта слова: Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство и Счастье всех народов.

И мы читаем далее о грандиозных предназначениях: о новых электростанциях, которые дадут нам миллиарды киловатт-часов электроэнергии, об автоматических заводах, где, словно в сказке, будут происходить удивительные превращения, а человек будет лишь контролировать действия умных машин. О сотнях миллионов тонн стали, о чудесных материалах, которым суждено заменить металл, дерево, бетон... Перед нами встают картины новой, преображенной деревни: уютные городские дома, поля, на которые, так же как и в заводские цеха, пришла автоматика...

Этот паспорт выдан нынешнему поколению советских людей!

Грандиозна Программа построения коммунизма. Каждая строка этой Программы выверена и обоснована марксистско-ленинской наукой. Мне вспоминаются слова Маркса о том, что буржуазная наука пыталась лишь объяснить мир, в то время когда его надо изменять.

И вот слова Маркса воплотились в великом документе нашей эпохи, который уже сегодня стал руководством к действию для нынешнего поколения советских людей, тех, кому строить коммунизм и жить при коммунизме.

Каким же оно должно быть, это поколение?

Мне хочется поделиться с вами, молодыми, своими мыслями и соображениями по этому поводу.

Я читаю моральный кодекс строителя коммунизма, этот замечательный свод важнейших нравственных принципов. Для того чтобы скорее воплотились в жизнь грандиозные задачи, намеченные и утвержденные партией, они — эти высокие нравственные принципы — должны стать нормой поведения каждого советского человека.



Помнится, лет тридцать пять тому назад мы как-то ехали с Владимиром Владимировичем Маяковским. Наша страна тогда была еще нищей, и никакой автомобильной промышленности у нас не существовало. Мы ехали на старом американском фордике, но молодой шофер испытывал, наверное, те же чувства, что и первый космонавт.

С тех пор прошло много лет. По улицам, тем самым московским улицам, где тащился когда-то одинокий фордик, несутся теперь потоки машин, сделанных на *наших* заводах. А в космосе на *наших* звездных кораблях побывали *наши* космонавты. Но я вспомнил ту самую поездку с Маяковским не только поэтому. В памяти наш разговор с Владимиром Владимировичем.

Маяковский сам не управлял машиной. «Понимаете, Светлов,— говорил он,— я в движении всегда задумываюсь. А шоферу это противопоказано. Настоящая профессия, любая настоящая про-

Ленинград двадцать шестого года! Я был секретарем комсомольской газеты «Смена».

Секретари! Любые секретари! Не учитесь у меня образцовой работе. Вы не заслужите благодарности читателя. И все равно я любил. Не умеючи, угловато, с пятого на десятое, но я любил. Я любил эти сырые гранки, в которых я что-то сообщал комсомольцам, любил развешанную на стендах газету, в создании которой я принимал какое-то участие, любил кировцев, которых раньше называли путиловцами, любил белые ночи, любил красное знамя, под которым погибло так много моих товарищей, и над этим знаменем светило солнце. И лучше бы погасло солнце, чем померкло мое знамя.



фессия должна из осознания ее превращаться в инстинкт».

Человек, какой бы работой он ни занимался, обязательно должен быть профессионалом. Мало того, даже чувства человека должны быть профессиональными.

К примеру, начинающий шофер ведет себя чересчур «сознательно». Вот я сейчас поверну направо, рассуждает новичок, а потом не дай бог не заметить запрещающий или разрешающий знак. На всякий случай я буду все время тормозить, чтобы не было аварии. Опытные шоферы об этом совсем не думают. Они могут разговаривать с вами, делиться воспоминаниями, и никакой аварии не будет. Осознание профессии стало привычным, само собой разумеющимся.

Я думаю о том, что примерно так же в нашу жизнь входят благородные начала. Они — не счесть тому примеров — становятся для нас привычкой. Я замечаю это у миллионов советских людей. Выполнение гражданского долга, правил общежития становится как бы внутренней потребностью. И не случайно в Программе партии, принятой XXII съездом КПСС, говорится, что при переходе к коммунизму все более возрастает роль нравственных начал в жизни общества, расширяется сфера действия морального фактора и соответственно уменьшается значение административного регулирования между людьми.

Вспомним, что у нас есть милиционеры и дружинники-комсомольцы, прокуроры и общественные комиссии, следящие за соблюдением законности. А в будущем и милиция и прокуратура целиком уступят свое место общественности, то есть нам с вами.

Но для этого необходимо, чтобы осознание гражданских обязанностей у *всех* людей превратилось в привычку.

Человек, для которого коммунистическая мораль стала



естественной нормой поведения, увидев несправедливость, не станет рассуждать, он, не раздумывая, придет на помощь.

И разве не те же чувства — благородство, самоотверженность, патриотизм — все то, что записано в моральном кодексе строителя коммунизма, — повели молодежь на освоение целины, заставили Валентину Гаганову и ее многочисленных последователей перейти в отстающие бригады, поступиться своим личным во имя общего дела.

Но мы знаем, что у нас есть еще люди, которые очень своеобразно понимают свой гражданский долг.

Передо мной письмо. Автор его сообщает: двое подростков затеяли на бульваре драку. Но его интересовали, оказывается, не хулиганы, а прохожие. Они, видите ли, равнодушно шли мимо. Тогда свидетель «возмутительного случая» возмутился и отправился на почту. Там он, сознавая свой гражданский долг, начертал:

Всегда старики брюзжат: «Эх, в наше время!» Позвольте же и мне сказать: «Эх, в наше время!» В наше время на любимую смотри, как на мировую революцию: ты — самая желанная! А сколько я сейчас знаю случаев, когда любимый смотрит на любимую, как на революцию местного значения! Не правда ли, что многие Ромео и Джульетты стали обывателями!

Не сдавайся, Комсомол! Если благородство перестанет быть твоим знаменем, ты перестанешь быть Комсомолом. Относись к борьбе, к идеям, к самопожертвованию, к любви, к женщине так, чтобы самые изысканные английские джентльмены почувствовали себя рядом с тобой самыми обыкновенными дворняжками.



«Я считаю, что граждане не должны проходить мимо фактов уличного хулиганства. Прохожие должны сообщать о подобных фактах в милицию». Но этот, с позволения сказать, «блуститель порядка» почему-то не подумал о своем активном вмешательстве. Он обвиняет в этом других людей.

А вот вам совершенно противоположный случай. Речь пойдет о человеке, выполняющем свой долг.

Он совершенно не думал о том, что совершает подвиг. Он шел по полю. Шел, как будто на прогулке. Но каждый его шаг мог оказаться последним. Он прижимал к себе смертоносный груз — изъеденный ржавчиной, невзорвавшийся артиллерийский снаряд. Он стороной обходил людей. «Если снаряд взорвется, погибну я один, и никто больше!» Звали этого человека Петр Межевикин. По профессии он строитель. Он пронес снаряд три с половиной километра и взорвал его в поле. Какой же по сравнению с Петром Межевикиным чепуха человек тот хлюпик, что написал письмо в редакцию!

Эти примеры могут показаться не очень значительными, так сказать, частными. Да, благородство, гуманность, справедливость могут и должны проявляться не только в таких крайних случаях. Наше общество предоставляет огромные возможности каждому для воспитания в себе этих качеств. Наше советское общество — самая благодатная почва для гармонического развития личности.

Но я задумываюсь над тем, что же будет через двадцать лет, в пору наступившего коммунизма? Нормы морального кодекса станут неотъемлемыми качествами каждого советского человека. Мы избавимся ото всех экономических затруднений, и нам куда легче станет в общении друг с другом. Мы не будем задумываться о том, как поступать в том или другом случае.

Сейчас мы с вами боремся за нового человека. Жаль, что



мне уже много лет. Но для создания коммунистического общества я, как и всякий советский человек, должен напряженно трудиться. И трудиться не только потому, что я осознаю необходимость своего труда, но и потому, что вера в коммунизм стала смыслом моей жизни.

Лев Николаевич Толстой считал, что общество может стать лучше, если каждый человек займется самоусовершенствованием. Это, конечно, была заманчивая, но нереальная мечта. Ведь должен совершенствоваться не только отдельный человек, а все общество. Без Великого Октября никакие «самоусовершенствования» не сделали бы нашего человека таким, каким мы его видим в Братске, Антарктиде, на целине и в космосе.

Комсомольцы, едущие на целину или на наши новые стройки,— это не отдельные индивидуумы, желающие «усовершенствоваться», это питомцы советской системы воспитания, системы, которой еще не знало человечество. А это — главное. Ведь чем выше сознательность членов общества, тем полнее и шире разворачивается их творческая активность в создании и материально-технической базы коммунизма, и новых отношений между людьми. Тем быстрее и успешнее решаются задачи строительства коммунизма.

Вся наша страна с глубоким вниманием занята изучением материалов исторического съезда партии, давшего огромную пищу для умов, поставившего грандиозные практические задачи перед каждым гражданином Советского Союза.

Никто из нас не сомневается в победе коммунизма. Никто из нас не сомневается в том, что наша партия воспитает нового, прекрасного человека, потому что уже в нашем молодом современнике мы узнаем черты человека коммунистического общества.

1961



МОИ МЫСЛИ О ПУШКИНЕ

Особенность гения заключается в том, что он сопровождает нас всю жизнь. Поэт, в свои юные годы написавший «Руслана и Людмилу», постоянно со мной. Любовь Татьяны учит меня любви; любая осень для меня болдинская.

Я обменял бы самую несчастную судьбу Пушкина на свою самую счастливую. Я так хочу, чтобы любое чувство мое стало пушкинским. Я хочу, чтобы любой наш комсомолец вел себя так, будто рядом живет Пушкин.

Сто двадцать пять лет прошло после того, как мы потеряли Пушкина, но мне все время кажется, что Пушкин впереди. Пушкин — это непримиримая борьба со злом, это непобедимая талантливость во всем, что мы делаем.

Я давно пишу стихи. Но я не знаю, что бы я стал делать без Пушкина. Может быть, при нем я совсем не стал бы писать стихов. Слава богу, мои современники пишут так, что мне есть с кем соревноваться.

Пушкинская слава освещает нашу Советскую Родину. Я не хочу быть звездой, я хочу быть фонарем, освещающим дорогу моему современнику. Пушкин — это не только памятник. Это подошедшая к нам мечта, это четыре времени года, это всегда хорошо. Я кладу к подножию этого памятника свою жизнь. И я абсолютно убежден в том, что поступаю правильно.

Пушкин! Бесконечно дорогой! Стойте на площади, пусть не во плоти, и учите нас быть прекрасными, учите любить человечество так, как вы любили. А большего нам и не надо. Мы ведь коммунисты.

1962



ПОЭТ — ГРАЖДАНИН!

Каждый из нас обладает весьма странным свойством: только к концу жизни мы начинаем понимать, что молодость — явление преходящее. Если совсем молодому человеку сказать, что очень любимый всеми юбиляр Корней Иванович Чуковский был когда-то ребенком, молодой человек ухмыльнется: «Когда это было!» Для него, для этого совсем молодого человека, что писатель Гомер, живший еще до нашего летосчисления, что мало кому сейчас известный писатель Потапенко, живший в нашем веке, — люди одного возраста. А между тем и они «когда-то» были молодыми, «начинающими».

Пройдут годы, пройдет много лет, и какой-нибудь юный поэт будет укорять своего руководителя: «Да что вы меня все стариной пичкаете! Приемы, которыми вы советуете мне пользоваться, давным-давно устарели. Ими пользовались еще во времена Евтушенко. Писать нужно посвежее, более молодое, более современно и остро». И затем он, как водится у молодых поэтов всех времен и народов, начнет говорить о том, как он понимает новизну, остроту и гражданственность в поэзии. Во времена моей собственной молодости бурлили и кипели такие споры. И молодой Маяковский всей силой своего темперамента обрушивался на зал, а бывало, и колюче пикировался с ним.

И читал те смелые стихи, которые можно сегодня прочесть даже в тихой школьной хрестоматии, но которые и сегодня волнуют нас своей гражданственностью и человечностью. Слово «гражданственность» должно быть понимаемо абсолютно точно. Ведь настоящая гражданственность — это тот целительный воздух, которым живут и дышат поэзия и искусство.



Что мне не нравится в современной поэтической молодежи! Это создание искусственных солнц. А когда идешь в непогоду, далекая и не сразу доступная тебе русская печь светит тебе ярче самого сильного солнца.

Здравствуй, русская печь моей советской поэзии! Когда ты со мной, на кой черт мне паровое отопление! Я обязательно должен быть замерзшим, прежде чем я дойду пусть до маленького, но, все же, удивительно теплого огонька искусства. Видите — афоризмы, как бешеные собаки, преследуют меня. И никакие пастеровские прививки мне не помогут. Пожалейте меня. И все равно я полон надежд. Я — маленький заяц советской поэзии — убежден в том, что никакие собаки меня не догонят.

«Гражданственность», «социальность», «общественность» — понятия, без которых наше творчество лишается всякого смысла. И поскольку нам эти понятия так дороги, мы должны со всей серьезностью отнестись к ним.

Гражданственность — это чувство Родины, это активная любовь к ней, это кровная связь художника с народом, служение ему. Это борьба за нового человека, благородного, честного, смелого. Это для нас сегодня — верность высоким идеалам ленинизма, делу партии.

Русская поэзия на протяжении всей истории своей была поэзией гражданской и социальной. Где-то в дальней дали потерялся след повозки, увозившей в Сибирь Радищева. И давным-давно архаической стала его некогда знаменитая ода. А нет человека, который бы не помнил с благодарностью, что в «жестокий» век восславил он свободу.

Поэзия всегда давала пищу мысли и была трепетным и



сильным откликом на жизнь. Она будила сердца и двигала умы. Пушкинское «Во глубине сибирских руд», лермонтовское «Смерть поэта». Мы привыкли чуть ли не с детства к этим стихам и, став взрослыми, редко их перечитываем. Но стоит на секунду представить себя современником этих строк, и ощущаешь, какой огромной силы ток исходит от них. И сегодня они нам близки — такой это чистый сплав глубочайших человеческих чувств. Но, к сожалению, «гражданственной» нередко именуется и литературно беспомощная продукция, фальсификация, которую создатели ее преподносят как духовную пищу, но которую никакие зубы разжевать не могут. Декларативная внешняя гражданственность никогда и никого не волновала и не будет волновать.

В отвлеченных декларациях нет жизни, нет чувств, они мертворожденные. Почему же сегодня нужно, по-моему, говорить об этом? По признаку чисто внешней претензии на большую тему у нас идет в печать, особенно по праздникам, множество невыразительных стихов. И эта ложно понимаемая их гражданственность, мне кажется, отвращает часть молодых и талантливых поэтов от их настоящей цели, оттачивает от главных вопросов жизни в область сугубо интимную.

А между тем настоящие гражданские стихи — это стихи глубоко личные. И создание их невозможно без большого и смелого поэтического поиска.

Не всегда в истории человечества поиски сразу заканчивались находками. Вот почему я никак не могу согласиться с теми молодыми поэтами, которые после первых неудач или первых критических слов, пусть даже порой несправедливых, преждевременно уставали и начинали рассуждать так: «А ну их — эти все мои поиски! Дай-ка я для своего спокойствия буду писать так, чтобы внешне все выглядело «по-



Часто наблюдаешь: когда начинает писатель писать вещь, он обязательно пишет, что до революции жизнь была плохая, а после революции стала лучше и т. п. Ведь для того, чтобы это сравнить, не надо даже иметь на плечах голы. Тут нужна одна ручка.

граждански», и в стотысячный раз повторю какие-нибудь банальные строки. Тут меня ни в чем не упрекнут, в крайнем случае сделают вид, что попросту этих стихов не заметили». А другие поэты, глядя на этих «уставших» и изменивших себе, впадают иногда в другую крайность — уходят от гражданских тем да еще бросаются в окружение нигилистов и «разочаровавшихся», выдавая себя за какую-то необыкновенную «индивидуальность», цена которой полторы копейки старыми деньгами.

За весь период моей многолетней работы я пришел к выводу: надо трудиться в поэзии так, чтобы стать близким не только обществу в целом, но и каждому члену общества.

И я считаю, что глубоко лирическое личное стихотворение может быть остросоциальным. Неужели стихотворение, написанное Лермонтовым более ста лет тому назад, асоциально только потому, что он —



один — выходит на дорогу? Тогда почему же век спустя и я и все мое поколение прислушивается к тому, «как звезда с звездой говорит»? Именно потому, что это гениальное стихотворение высокосоциально, глубоко по мысли, что оно возвышает человека.

Александр Блок написал не только «Двенадцать», у него еще есть «Стихи о Прекрасной Даме». Маяковский — автор не только «Во весь голос», но и «Облака в штанах». Так неужели во втором случае эти поэты асоциальны? Социальны, активно социальны!

Остановлюсь на творчестве одного из самых популярных сейчас молодых поэтов — Евгения Евтушенко. Некоторые читатели обвиняют его в том, что он «предал» свою лирику, что он чересчур увлекся социальными мотивами и поэтому как бы отдалился от читателя, перестал быть ему близким.

Как это ни парадоксально, но я считаю, что в своих социальных стихах Евтушенко куда лиричней, чем в своих рафинированно-лирических стихах. Неужели же эти душещипательные стихи, где рифмуется «шепотом» и «а что потом», лиричнее и ближе человеку, чем, например, стихотворение того же автора «Страхи»? Я знаком с Евтушенко уже довольно давно, с начала его поэтического пути, но этим стихотворением он меня еще более приблизил к себе. Оно — это стихотворение, как и многие другие его стихи, и социально, и лирично, и человечно.

Человеческие чувства по полкам не разложены, тем более в поэзии. В пушкинской «Полтаве» на равных правах существуют и разящий Петр и влюбленный Мазепа. Сплав человеческих чувств — вот что прельщает нас в поэзии. И Евтушенко несколько не «предал» лирику. Его творчество разбивается противоречиво, но естественно. Так же как по одно-



му поступку нельзя судить о поведении человека, для которого такой поступок исключение, так же нельзя судить о поэте по отдельному стихотворению, недостаток которого он уже преодолел. Не нужны мне никакие «шепотом — а что потом». Мне нужен мужественный и одновременно лирический поэт. Я с большой радостью замечаю, что в нашей молодой советской поэзии таких поэтов становится все больше.

Творчество другого популярного и талантливом молодого поэта, Андрея Вознесенского, страдает, если можно так выразиться, «болезнью наоборота» — от социальных к вроде бы глубинным душевным темам. От «Мастеров» до «Полуторки», от хорошего к плохому, от крупного к мелкому. Ах, какая для любого молодого поэта таится опасность в этой ложной углубленности! Не во всем в жизни следует копаться, не все увиденное должно стать предметом поэзии. Нельзя нарочно быть своеобразным — эта нарочитость всегда выпирает. Мне знакомство с шофером из «Полуторки» совсем не нужно. Он мне неинтересен. Да фактически я его и не вижу. Я вижу автора, который захотел создать скульптуру из засохшей глины, считая, что эта глина так же тверда, как мрамор. Надеюсь, что это у Вознесенского — болезнь роста.

Пусть не подумают, что я избрал двух поэтов и на них моя любовь к молодой советской поэзии кончается. Мне так же дороги и близки многие мои молодые соратники — Исаев, Ахмадулина, Евсеева, Мориц, Казакова, Борисова, Рождественский, Цыбин, Поперечный и другие. Я даже мельком не разбираю их творчество только потому, что это заняло бы целую книгу, и, может быть, когда-нибудь я такую книгу напишу.

Близится совещание молодых писателей. Кардинальным



вопросом, конечно, будет гражданственность в литературе. Это самая близкая мне тема. В юности я воображал себя героем многих литературных произведений. Но никогда не воображал, что я Робинзон Крузо. Просто я не мог бы жить на необитаемом острове. Всегда со мной были люди, народ, Родина. Судьбы людей и различны и схожи. Именно об их судьбах, об их мыслях, мечтах должны прежде всего думать поэты. Они должны помогать им своей поэзией, звонкой, умной, гражданской.

1962

«СТРУНА» БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

Я никогда не держал в руках соловья. Он, должно быть, теплый. Иначе как бы он мог так замечательно петь?

Я держу в руках очень теплую книгу стихов Беллы Ахмадулиной «Струна». Это ее первая книга. Если считать, что своей книге надо отдаваться всем сердцем, то эта книга — ее первое сердце.

Лучший способ познать человека — через его профессию. Особенно это относится к писателям, и в первую очередь к поэтам. Я вот уже несколько лет знаком с Беллой Ахмадулиной, всегда мне нравился ее талант, но, только прочтя ее книгу, я понял: до чего же это необходимо — существование такого человека!

Нас, много познавших в жизни, на мякине не проведешь. Мы мгновенно отличаем искусственное от искусства. Главное качество поэта Беллы Ахмадулиной — чистота ее творчества. Она не боится смелого обобщения, неожиданных сравнений. К примеру, неискушенного читателя могут смутить такие строки:



Граненая вода Кизира
Была, как пламень, холодна.

«Как же так? — подумает неискушенный читатель. — Пламень-то горячий, а не холодный!» И тут же забудет о том, что сам рассказывал: «Понимаете, кидаясь я в речку. Вода такая холодная, что меня прямо обожгло». Это тот же «холодный пламень», но читатель привык к старой формулировке. По таким же причинам некоторым читателям непонятны революционные методы в поэзии Маяковского.

Необычная рифмовка также не является недостатком этой книги. Стихи так насыщены настоящими человеческими чувствами, что когда ее замечаешь, то начинаешь понимать, что это очень органичная рифмовка. Вот, скажем, Ахмадулина показывает песика японской породы:

...И голова его мигала.
Он горестный был и седой,
Как бы поверженный микадо,
Усталый и немолодой...

Вас смущает рифма: «мигала» — «микадо»? Меня нисколько. Такая рифмовка признак силы поэта, а не его слабости. Она — такая рифмовка — подчеркивает мягкое, может быть, чуть наивное, доброе отношение поэта к описываемому. Именно поэтому Маяковский в стихотворении о лошади рифмовал «стойло» и «стоило». Именно поэтому Есенин писал:

...И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове...

Сравните цитируемое мною стихотворение Ахмадулиной со стихами Маяковского и Есенина о животных, и вы убедитесь



тес, что они все стоят в одном ряду. То же мастерство, та же человечность.

Может показаться, что я останавливаюсь на частностях и не касаюсь главного. В поэтическом мастерстве не бывает частностей. Все должно быть подогнано с микронной точностью. Песчинка — это «частность» дюны, но она создает ее громадность.

И еще остановился на частностях для того, чтобы показать, что первая книга поэта не обязательно книга начинающего поэта. Это может быть и книга мастера, что и произошло в данном случае.

Я еще постараюсь в более широкой статье проанализировать творчество Беллы Ахмадулиной и необходимость ее творчества. А пока я на короткий вопрос: «Для кого пишет Ахмадулина?» — коротко отвечу: «Для молодых, мятущихся, не всегда находящих ответа душ».

Редко я встречал такое органическое сплетение лирики

Самое трудное для молодого — быть молодым.

Хорошо было англичанину Байрону, когда он погиб за Грецию.

**Трудно ли быть молодым?
Мне — не трудно!**



и гражданственности. Круг тем поэтессы обширен. И месяц для нее не только одна двенадцатая часть календаря. Прочтите хотя бы «Сентябрь» и «Декабрь», и вы убедитесь в этом. Смелых ассоциаций у Ахмадулиной сколько хочешь. Официантку, например, она показывает как королеву, и мы больше видим королеву, чем официантку. К своей сверстнице — представительнице советской молодежи — Белла обращается просто, естественно и непринужденно. Общность задач, общее теплое дыхание их согревает нашу действительность и наше будущее. И если задача советского поэта в том, чтобы читатель, прочтя твою книгу, стал хоть чуточку лучше, — то Белла Ахмадулина со своей задачей справилась блестяще. Этим своим коротким отзывом я не хлопаю ее по плечу — я опираюсь о ее плечо.

1962

ПЕРВАЯ КНИГА МОЛОДОГО ПОЭТА

Для невнимательного взора
Природа Севера бедна.
Но разве беден лес, который
Доверил снегу семена?

Читая эти стихи Валентина Берестова, я чувствую, что моя семья расширяется. Семья художников, семья людей, очень любящих человечество. Задача поэта — стать близким людям. В. Берестов еще юноша, но он станет таким взрослым, нужным людям человеком.

Не слишком ли большие авансы я выдаю молодому поэту? Так ведь можно и зазнаться! Нет, думаю, он не зазнается.

...Каждый наш поступок мы должны как бы измерять



меркой нашей юности: так ли ты мечтаешь, как мечтал, стремишься ли ты к тому, к чему в юности стремился? Многих моих сверстников уже нет в живых, а найти нового друга куда труднее, чем потерять старого.

Все эти мысли пришли ко мне, когда я читал «Отплытие» В. Берестова. Наверное, не отплытие, а приплытие. Приплытие к человеку, к людям, мечтающим о коммунизме, но еще не живущим в нем.

Но есть у меня и серьезные претензии к молодому талантливому поэту.

Я боюсь, что вы станете просто *милым* поэтом. Это самая большая опасность, которая вам угрожает. Откуда возникает такая опасность? От желания нравиться. Это болезнь молодости, но никогда не было такой молодости, которая бы не прошла. А потом, в старости, чем вы будете дороги людям? Вы будете дороги тем, что беда, настигшая человека, пока-

Сентиментальность — это не искусство. Несмотря на свой приятный розовый цвет, это жидкость ядовитая. Поэт, писатель должны быть опытными гомеопатами и отпускать на каждый печатный лист не более трех, четырех капель сентиментальности.

Сентиментальность не должна быть обнаженной — она должна просвечивать сквозь произведение, как загар сквозь тонкую рубашку.

Голая сентиментальность — это халтура, в лучшем случае — ханжество. Голые дураки те, кто принимает голую сентиментальность за задрапированную лирику. Человек страдает больше тогда, когда удерживает слезы, а не тогда, когда они катятся у него по лицу. Это, конечно, не значит, что глаза у нас созданы для того, чтобы слезоточить...



Когда у талантливого человека есть резко выраженные недостатки, то нужно не терапевтическое, а оперативное вмешательство. Строжайший отбор темы. И строжайший подход к ней. И понимание того, что ты делаешь что-то весьма необходимое людям. Многие авторы не соблюдают этих великих законов поэзии. Легкое настроеньице — и уже пишут стихи. Так нельзя. Наша профессия — профессия советских поэтов — может превратиться в пустячок. Стихотворение может возникнуть только в силу необходимости. И для поэта и для читателей.

жется ему рядом с вами более легкой, а радость, пришедшая к нему, более совершенной.

Значит, речь идет о диапазоне творчества. Поэт должен быть спринтером на огромное расстояние, отделяющее горе от радости. Пока что вы только удивительно милый собеседник. Где ваши волевые качества? Вы должны сильным движением взять читателя за руку и указать ему: «Иди туда! Там хорошо!» Пока что это ваше движение слишком мягко. Хорошо, что вы не грубо настойчивы. От этого вам больше веришь. Но плохо, что за вашей мягкостью не чувствуешь твердой руки, привыкшей держать тяжелое оружие. Больше видна привычка к легкому и тонкому инструменту. А не ощутив твердости, может быть, и не рискнешь опереться на вашу руку в долгом и трудном пути.

Чтобы указывать, вы сами должны знать, где хорошо, а где плохо. Вы же еще



не столько знаете, сколько угадываете. Оттого, может быть, даже о зле вы говорите все с той же обескураживающей улыбкой: вы уже не любите зло, но еще не ненавидите его.

В ваших стихах много света и тепла. Это ощущение дает мне счастье. Но в то же время мне чуть страшновато. Я не люблю, когда ко мне приходит настроение: «Какие мы все хорошие!» Мне тогда начинает казаться, что я в бою и теряю оружие.

Почитайте классиков. Какие это были люди!

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездой говорит.

Что это — умиротворение? Великая вселенная и вечное время? Или только торжественность бесконечности, дающей отдохновение надорвавшейся душе? Но оказывается, бесконечность дает приют только сильному, собирающему новые силы.

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь.

Первая строфа — это трамплин для прыжка в большую мысль о несдающемся и неломающемся человеке.

А теперь цитата из вашего стихотворения:

Как-то в летний полдень на корчевье
Повстречал я племя пней лесных.



Автобиографии деревьев
Кольцами написаны на них.

Сначала поражаешься: вот выдал прозаизмы — «племя пней», «автобиографии деревьев». Потом восхищаешься прелестью и емкостью образа, особенно в последней строке:

...детство станет сердцевинной
Человека будущих времен.

Да, это все очень хорошо, но этого мало. Вы любуетесь отдельными кирпичами, а забываете о том, что вы строите стихотворение, в котором людям надо жить. Сначала уясните задачу, а потом ищите кирпичи. Узнайте точно, что вы строите.

Человеку нельзя жить без друзей. Находите их! Каждый ваш читатель — это ваш друг. А друзья у читателя должны быть интересные. Иначе к чему ему эта дружба! Вы можете стать большим, а для многих даже единственным другом. Но пока вы только приятель, добрый, веселый, надежный, но все же только приятель. Он может рассказать о жизни немало любопытного и меткого. Он, чувствуется, не откажется помочь в беде. Но все-таки с большой тайной и с большим горем к нему не пойдешь.

Вы любите строить стихотворение на случае, на анекдоте. Вам, как видно, нравится притча. Но она часто сковывает вас. Ее мораль для нынешнего читателя немного наивна. Иногда притча вносит в ваши стихи примитив. Воспитывать своего читателя надо не милыми побасенками, а резким вмешательством в его жизнь.

Вы это можете. Я на вас надеюсь.

1952



ЕЩЕ ОДИН ОГОНЕК...

Таланты не находятся случайно. Таланты находятся в поисках. Как часто мы бродим по пустыням поэзии — и ни листочка оазиса! Со мной это длилось довольно долгое время, и вдруг я увидел теплый и приветливый огонек. Этот огонек горел в одном из номеров журнала «Литературная Грузия», издающегося в Тбилиси на русском языке. Фамилия этому огоньку — Чиладзе.

Чем меня пленил этот молодой поэт?

Многие видят одно и то же. Но если обозреваемый предмет ты видишь точно так же, как твой читатель, то почему ты считаешься поэтом, а твой читатель таковым не считается? Если ты не подскажешь читателю точку зрения, угол зрения, если не заставишь его увидеть предмет «по-твоему», то ты читателю окажешься просто ненужным. Видеть одинаково умеют все зрячие. Поэт создает как бы обновление привычного предмета, он должен уметь присматриваться и рассматривать. Этими качествами и обладает Тамаз Чиладзе.

Платаны подъема Петриашвили,
На мостовых была ваша тень.
Платаны подъема Петриашвили,
На стенах, машинах была ваша тень,
Но главное, то, что вы совершили,—
На платье любимой была ваша тень.
Вам, самым главным моим деревьям,
Я посвящаю свои стихи.

Стояли себе эти платаны на подъеме, и все их видели одинаковыми глазами. Но вот пришел Чиладзе — и платаны перестали быть только деревьями, простыми деревьями.



В следующем стихотворении очень мне запомнилась энергичная строфа:

Я хочу твой портрет
Написать на века.
Напишу я его
И вслепую.
Я хочу, чтоб любая была строка
Вбита в звезды,
Как пуля в пулю.

А вот в концовке мне не понравилось следующее:

Я прошу вас, стихи мои,
Дети мои,
Вы звучите
И грозно и нежно.

Это старомодно. Такое впечатление, что к только что сорванным цветам поэзии Чиладзе прибавился мертвый, засохший букет «его бабушки»!

И не надо было в очень хорошее стихотворение «О, как похоже море на бессонницу» вставлять этакое «изъячное»:

И морю тоже
Плачется и стонется...

Может быть, в этом вина переводчика?

Тамаз Чиладзе — повелитель своих образов. Он подчиняет их своей мысли, и они на нее работают:

О, сказки, как они близки —
Толкутся, трогают за локоть.
Я пиво пью — и вдоль щеки
Летит их старомодный локон.



Обычно я, высказываясь о стихах моих товарищей по профессии, мало цитирую. В данном случае я изменил себе, но измена имеет свои пределы. Я не могу, например, процитировать полностью великолепное стихотворение «Мост Ватерлоо». Мои комментарии к стихам выглядели бы тогда, как спицы в быстро вращающемся колесе,— то есть их совсем не было бы видно.

Я познакомился с очень интересным поэтом. Теперь, что бы он ни написал, я буду стремиться прочесть.

Несколько слов о переводах. Есть много противников «отсебятины». Я сам принадлежу к числу этих противников. Но когда индивидуальность переводчика сливается с индивидуальностью переводимого им поэта и когда эти индивидуальности превращаются в один художественный слиток, то разве можно возражать против этого?

И Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина хорошо перевели Чиладзе. Слиток получился неразделимый. Я узнаю своеобразие молодого грузинского поэта и своеобразие двух молодых русских поэтов. Только нехорошо, когда рифмуются «глине» и «другими» или «заморочь» и «заморозь». Это не рифмы, а только воспоминания о рифме.

А в целом и поэт и его переводчики на высоте. Я очень рад за них.

1961

О СТИХАХ Б. РУЧЬЕВА

Нет сомнения, что в нашей среде появился еще один талантливый человек. И именно потому, что он талантлив, к нему следует предъявить такие же требования, какие мы предъявляем к себе.

Он читал нам стихи — там есть великолепные куски, но



Мне приходится читать стихи многих молодых поэтов. Многие из них, убягая от банальности, убягают и от жизненной правды, и убягают они все в одном направлении, так что начинает казаться, будто все эти стихи написаны одним человеком. Если можно так выразиться, получается банальное убягание от банальности.

главный враг Ручьева — стилизация. «Разъединственный пиджак» — «Наш единственный пиджак» куда лучше. Для меня в стихотворении 25 километров куда больше и длиннее, чем миллион километров. Если я вышел ночью от товарища и у меня нет денег на такси, чтобы доехать домой из Кунцева, то для меня это куда дальше, чем до Млечного Пути. Так что правдоподобие заключается не в «разъединственном». В ваших стихах есть стилизация, которая как бы заменяет чувства,— и с этим нужно бороться.

Вы понимаете, как дружки мы к вам относимся,— если бы я не считал вас талантливим, я просто не пришел бы сюда. Так что вы подумайте над этим. Редактору будет очень трудно с вами работать, и вот почему: если он по-настоящему любящий советскую поэзию редактор, он не захочет, чтобы вы вышли рядовым писателем. Вы должны появиться как явление —



вы имеете на это право. И не имеете права выйти очередной книжкой, одним из многих.

Сегодня я слушал ваши стихи. Нужно сказать, что я вообще очень плохо воспринимаю стихи на слух, но мне кажется, с вами должен работать удивительно жесткий редактор — вы иногда вдаетесь в болтливость. Стукнул кулаком — и хватит. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот почему меня эти стихи даже огорчили.

По-над Волгой плавает челнок,
Эх ты, Волга, родная река!

Думаешь, что это не народное — уж очень легко стилизовать.

Мы собрались здесь ради вас, а это значит, что в вас нуждаются. Но если вы пойдете по пути успеха для командировочных, ничего не получится.

Вы станете таким же маленьким поэтом, каких у нас много... И вы должны бояться этого...

Книжка — это подарок. Но чаще всего мы любим дарить уже износившиеся вещи.



Почему я говорю, может быть, слишком резко? Потому что мне ваши стихи понравились и вы понравились (а мне очень редко нравятся люди, в последний год, может быть, один-два человека). И я сказал, что буду с вами жестче, чем с другими.

Вам нечего сомневаться в том, что ваша книга выйдет, но надо, чтобы вы нашли в себе силы выбрасывать даже хорошие строфы, если они мешают стройной композиции.

У меня впечатление вообще, что стихи надо не писать, а лепить — один на другой. Это своеобразное крупноблочное строительство. А если лишняя строфа, как лишний кирпич, мешает — ее надо убрать.

И вы должны понять, что мы хотим, чтобы появился новый талантливый советский поэт. Я вас знал давно, но тогда вы только зарождались, а сейчас вы — зрелый поэт и должны с должной требовательностью относиться и к своим стихам, и к чужим.

ЧУЖОЙ НЕДОСТАТОК — НЕ ТВОЕ ДОСТОИНСТВО

Ко мне обратилась редакция «Пионерской правды» с просьбой в своей писательской манере рассказать ребятам о великих свершениях нашего времени, о XXII съезде партии, о новой прекрасной Программе нашей партии, о победе советского человека на земле и в космосе.

Честно признаюсь — я испугался. Я считаю, что для такой огромной темы нужна такая же огромная и очень толстая книга. Не справлюсь я с такой темой в маленькой и худенькой газетной статье. Поэтому я решил ограничить свою задачу. Лучше я попаду в яблочко мишени, чем буду просто стрелять в небо. И вот на чем я остановился.



Как часто мне приходится и в своей среде и в среде других трудящихся слышать такие фразы: «А вы знаете, он (допустим, Иванов) — он ведь совсем бездарный!», или: «А вы знаете, он (допустим, Сидоров) — он ведь совсем глупый», или: «А вы знаете, он (допустим, Сергеев) — он ведь человек не совсем честный».

Для чего этому человеку нужны такие отзывы о своих товарищах? Сейчас я вам точно объясню. Когда ты говоришь о другом человеке, что он — бездарный, то, само собой, должно подразумеваться, что сам-то ты талантливый. Когда говоришь о другом, что он глупый, то, естественно, сам ты умнейший человек на свете. Когда ты говоришь о товарище: «Он ведь человек не совсем честный», то всем людям должно стать понятным — тебе в карман можно вложить весь Государственный банк СССР, и баланс сойдется тютельница в тютельница.

В таком отношении к жизни, к себе и к товарищам заключается чудовищная опасность — ты перестаешь опираться на свои достоинства и чужие недостатки становятся рельсами, по которым ты легко и безмятежно покатишься в свое будущее. Не дай бог, чтобы это случилось с вами!

Если ты считаешь, что твой товарищ бездарен в какой-то области, помоги ему найти такую область, где он был бы талантлив. Если ты считаешь своего товарища глупым, а себя умным, держи его чаще в своем обществе, и, возможно, он поумнеет. А если ты говоришь: «Он ведь человек не совсем честный», постарайся осмеять эту «не совсем честность», и, ругаясь тебе, результаты будут отличные.

Ты обязан войти в коммунизм со своими достоинствами, а не с чужими недостатками. Я убежден в том, что ни Гагарин, ни Титов никогда не ссылались на то, что в воздушном флоте есть плохие летчики. Они просто внутренне мобили-



Язвительность — не единственное оружие сатиры. Не всегда лекарьство действует путем уколов. Иногда его просто принимают внутрь.

зовались и полетели в космос. И, как вы знаете, весьма успешно. И я сам еще попытаюсь иметь хорошие и очень нужные моему народу стихи, совсем не опираясь на то, что в Союзе писателей есть много плохих поэтов.

Как видите, я обманул редакцию «Пионерской правды». Она просила меня написать о большом, а я написал о маленьком. Но нет ничего самого большого на свете, которое не состояло бы из самого маленького. Даже самая большая вершина состоит из атомов. Наш огромный и талантливейший народ состоит из отдельных людей. Старайтесь идти в ногу с этими людьми, и вы никогда ничего не прогадаете. В этой уверенности я и написал вам, может быть, не о самом главном, но, мне кажется, все равно очень нужном.

И если вы согласны со мной, то я еще пошевелю мозгами и поделюсь с вами еще какими-то своими новыми соображениями.



Я — ЗА УЛЫБКУ!

В деле воспитания я абсолютный невежда.

Было бы нелепо, если бы я стал преподносить некоторые доктрины в незнакомой мне области. Я могу просто поделиться с читателем некоторым своим жизненным опытом и рассказать о своих впечатлениях, а не о знаниях.

Так вот, я глубоко убежден, что первый и главный помощник воспитателя — юмор. Недостатки первым делом надо не осуждать, а высмеивать. Я не Песталоцци, не Ушинский и не Макаренко, моя специальность совсем другая, но я убежден, что в ребенке надо вызывать не страх наказания, а надо заставить его улыбнуться. Свойство всех детей — нарушать установленное. А если это нарушение показать в смешном и нелепом виде? Если показать ребенку, что он в своем нарушении не столько грешен, сколько смешон?

Приведу два примера из

Я очень люблю Комсомол. Если я даже, допустим, достигну возраста Джамбула, я все равно буду участвовать в комсомольских кроссах и я не добуду первенства только потому, что все время буду наступать на свою длинную, седую бороду.



практики воспитания собственного сына. Однажды я вернулся домой и застал своих родных в полной панике. Судорожные звонки в «неотложку»: Шурик выпил чернила.

— Ты действительно выпил чернила? — спросил я.

Шурик торжествующе показал мне свой фиолетовый язык.

— Глупо, — сказал я, — если пьешь чернила, надо закусывать промокашкой.

С тех пор прошло много лет — и Шурик ни разу не пил чернила.

В другой раз я за какую-то провинность ударил сына газетой. Естественно, боль была весьма незначительной, но Шурик страшно обиделся:

— Ты меня ударил «Учительской газетой», а ведь рядом лежали «Известия»...

Тут-то я и понял, что он больше не нуждается в моем воспитании.

Когда я говорю о воспитании юмором, я вовсе не имею в виду острословие или анекдотики; я говорю о юморе с подтекстом, об удивительно радостном и добром отношении к жизни. Сколько мы прочли книг великих писателей, написанных в этой манере, и как они нам помогли! По крайней мере, я на них воспитывался, и, кажется, неплохой человек получился.

1962

БЕСЕДУЕТ ПОЭТ СВЕТЛОВ

— Убей меня бог, если я знаю, о чем мы будем беседовать... Но у трудящихся всегда найдется общий язык, и, я думаю, мы побеседуем так, что это пойдет на пользу и вам и мне.



Вас интересует многое, но на общие темы я не могу говорить, потому что и сам плохо в них разбираюсь. Например, я до сих пор не установил: зачем нужна поэзия? Знаю только, что она нужна, и в первую очередь мне, так как у меня нет никакой другой квалификации. А тут, как мне кажется, я приношу пользу.

Давайте начнем очень элементарно, специфически с того, что касается поэзии. С рифмы, например. Вам трудно рифмовать или легко? (*Голос с места: «К о м у к а к!»*) Рифма вам помощник или враг? (*Голос с места: «Чаще мешает!»*) Это потому, что вы еще не умеете с ней обходиться. Я утверждаю, что рифма — первый помощник поэта. Сейчас попытаюсь на каком-нибудь примере это доказать.

Мне очень помогает рифма. Рифма помогает мне, как человек. Что же она делает? Она создает ассоциации на первый взгляд нелепые — рифмуешь одно с совершенно противоположным и потому не сразу находишь соответствие. Мне вспоминается смешной случай с рифмами. У меня была записана рифма и лежала, забытая в столе: *падишах и падежах*. Какая здесь ассоциация? *Падежах* — это что-то из грамматики, а *падишах* — из Турции. Но уже в самой этой рифме заключается юмор, и я написал стихотворение — объяснение в любви к девушке, где есть такие строчки (мне думается, они убедят вас в естественности соединения таких чуждых по значению слов, как *падишах и падежах*):

Будь я не еврей, а падишах,
Мне б, наверно, делать было нечего,
Я бы упражнялся в падежах,
Цельный день —
С утра до вечера...

И т. д.



Это стихотворение малоизвестно, но, я надеюсь, вы прочтаете его и поймете, что, если бы не было рифмы «падажах — падишах», не было бы и этого стихотворения.

Приведу еще рифму: *излучина — изучена*. И вот строки из стихотворения «Итальянец»:

Разве среднего Дона излучина
Иностранным ученым изучена?

Есть натяжка? Нет натяжки. Рифма создает ассоциацию.

Белым стихом я не пишу. Переводить белым стихом обожаю. Собираюсь переводить Расула Гамзатова — он пишет белым стихом. Жуковский перевел «Ундину» белым стихом, но это не нарушает целостности поэмы... Гамзатов в переводе тоже не потерял, потому что его переводят хорошие поэты, и вообще искусство перевода у нас на большой высоте. Кстати сказать, на мой взгляд, не обязательно белый стих переводить белым.

Так что, когда вы говорите: мне трудно с рифмой, — это из тех трудностей, которые нужны больше, чем легкость.

Рифма, повторяю, — первая помощница ваша, не потому, что вы соединяете несоединимое, а потому, что без нее нельзя выразить то, что хочешь сказать в стихотворении. А без мысли о том, что ты хочешь написать, не может быть стихотворения.

Многие из молодых пишут сейчас так заковыристо, что не сразу разберешь, что к чему. В погоне за оригинальностью, в стремлении избежать банальностей они удивительно банальны. Им сейчас труднее написать «Дети, в школу собирайтесь», чем стихи вольным размером с необычными образами.



Главное, чтобы было что-то за душой. Вот Пикассо, например,— в лучшие свои полотна он вкладывает то, что у него лежит на душе. А когда у тебя за душой ничего нет и ты начинаешь выдрючиваться, чтобы показать какую-то оригинальность,— вот этого я не понимаю. И становлюсь похожим на петуха крыловского, который в куче навоза ищет жемчужное зерно. Но разница между мной и крыловским петухом такая: мне ясно, что навозом от кобылы можно удобрять поля, а навозом от искусственной кобылы поля удобрять нельзя.

Я говорю с вами импрессионистски, считая, что это лучше доклада или чтения воспоминаний. Чем хороша импрессионистская форма беседы? Когда редко встречаешься, всплывают разные вопросы, и на них надо дать ответы не исчерпывающие — вы сами их «дочерпаете»...

Может быть, мы возьмем у кого-нибудь из присутствующих здесь стихотворение и будем следить за его строками с точки зрения ювелира, не только того, который снабжает браслетами буржуазию, но и того, кто делает кольца для обручения пролетариата?

Итак, у кого-нибудь из вас, может быть, есть стихотворение, и мы, отталкиваясь от него, затронем различные темы. Это лучше всего. Сядем на определенном вокзале, еще не зная, куда поедем. Но предупреждаю: в оценке я буду как палач на пенсии.

Ну вот, ко мне поступило стихотворение «Торгаш». На первый взгляд неплохое. Разбирать его буду не с точки зрения арифметики, а с точки зрения высшей математики. Среднее образование и даже профессорское звание, как вы знаете, не отличают человека, отличает его только то, что он внес



в науку. Одно дело — никому, кроме студентов, не ведомый профессор, другое — профессор Эйнштейн. Ну, давайте разбираться.

...И борода твоя лохматая,
Как пес, свернется на мешке...

При чем тут мешок? Если бы не было мешка, пес мог бы свернуться еще на чем-то... Мешок — это не признак торговца. В мешке можно носить что угодно. Бедные люди таскают в мешке все, если у них нет денег на авоську.

Автор находился в плену рифмы «Ташкент — мешке», и в результате не он повел стихотворение, а стихотворение повело его (*Голос с места*: «А может быть, наоборот — он дорожил образом?»)

В молодости мне безумно нравились такие мои строчки... Сейчас вы будете хохотать:

Отягченная горем земля
Ударяет вздохами по небу.
Сегодня, 22 февраля,
Я хочу написать что-нибудь.

Рифма «по небу — что-нибудь» мне очень нравилась, я дорожил ею. А дело не в том, чем человек дорожит, а в том, что действительно дорого. Мещанин, скажем, дорожит фикусом, но это ведь не значит, что фикус имеет особую ценность.

В стихотворении нет возраста человека, о котором пишет автор. Какой это человек? Если старый — можно было бы написать: «ободранная борода», и это определение служило бы мыслью. А то, что борода лежит, как пес, меня не волнует. (*Голос с места*: «Может быть, автор хотел сказать: как собака, стережет?»)



Когда я читаю «Брожу ли я вдоль улиц шумных», все для меня ясно. Здесь нет того, чтобы борода свернулась на мешке. Здесь нет ни одного образа. Об образе нам тоже надо поговорить, потому что образом часто служит самое обыкновенное прилагательное. И вдруг это необычно поставленное прилагательное начинает звучать: «Гордо реет Буревестник, черной молнии подобный...» «Черной» — обычное слово, а какой изумительный образ!

Дальше вы пишете:

И за киоском у обочины
Маячит сгорбленная тень,
И воровато, озабоченно
Бесследно канет в темноте.

Это мне мешает. Все четверостишие сделано ради рифмы «обочины — озабоченно». У вас получается человек с двумя спинами и одной ногой. Вы отступаете от главной мысли, динамика стиха пропадает.

А вот пример, когда простое прилагательное становится замечательным образом:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.

Через эти прилагательные — зеленые, синие и желтые — вы сразу видите социальную суть тогдашней России... Надо знать, что можно сравнивать, и нельзя сравнивать кобылу с архиереем.

В вашем стихотворении торговец кричит: «Берите пряное и острое...» Это можно услышать только в Литинституте.



Продавец никогда не скажет: «берите» — он скажет: «покупайте».

Дальше строка. «Какой наварится супец!» Кто же в Ташкенте скажет «супец»? Это скажут в Ярославле, а не в Ташкенте.

Не думайте, что я придираюсь к стиху — нисколько! Я так же говорю и с любимым мною поэтом Смеляковым, он меня так же чешет, и большей частью правильно. Но нам легче понимать друг друга, потому что мы давно знакомы и наше творчество близко.

Читаем дальше:

Откуда ты, с какого острова,
Могильной гильдии купец?..

Почему острова, а не полуострова, не мыса? Почему купцы должны быть на острове? Они, наоборот, живут на континенте. Но у вас — остров. Почему? Острова бывают и обжитые, например, остров Манхаттан в Нью-Йорке. Вам остров нужен для рифмования со словом «острое». А если бы было слово «тупое», вы, наверное, рифмовали бы «с перепоя».

...Посторонись! Идут рабочие.
Дай честным гражданам пройти.

Это, знаете, примитивно звучит — плюс и минус, пролетариат и буржуазия. Пойдем дальше:

У тех, кто тяжести ворочает,
И так здоровый аппетит.

Вот это по-настоящему просто, хорошо.
С ответственностью за свои слова утверждаю: стихотворе-



ние талантливое. Почему же я так жестоко с ним обошелся? После моего разбора вы первое время не будете знать, что вам делать, вас каждая строка будет смущать. Но это только первое время. Нужно немного помучиться, а потом все встанет на свое место.

Вот еще две строки из этого стихотворения:

И звонче, чем листы лавровые,
Шуршат за пазухой рубли.

Почему шуршат? Если шуршат, значит, не звенят, а у вас написано: «звонче»...

Вы недостаточно вжились в то, что изображаете, и находитесь немного в подчинении и у рифмы и у аллитерации.

Остановлюсь еще на одной строфе:

Проходит жизнь, и горькой истины
Ты не запрядешь в семерик.
А совесть продана по листику —
Теперь попробуй, собери!

Слово «собери» здесь не то, а если вы употребили его, то совесть должна быть не продана, а разбросана по листикам. Точнее сказать, не совесть, а жизнь...

Я бы напечатал эти стихи, если бы чем-нибудь заведовал.

Поймите, мне хочется, чтобы вы были не только членами Союза писателей, о чем вы, конечно, мечтаете, а явлением в нашей поэзии. Таким явлением, как Леонид Мартынов. Я читаю его каждый раз с большим удовольствием. Вы заметили, как у него поставлены слова, мысли?! Это один из самых любимых моих современных поэтов.



Еще я очень люблю Смелякова. Но он менее строг, чем Мартынов, хотя и не менее талантлив. И вообще, у нас с поэзией обстоит дай бог, хотя современники всегда жалуются, что поэзия слаба, что раньше она была лучше. Даже тогда, когда Пушкин создал «Евгения Онегина», один из его современников, который не очень любил Пушкина, заявил: «Наш Сашка исписался». Прошло немного времени, и стало понятно, что «Евгений Онегин» — творение гения.

Поэтому, когда начинают хаять нашу поэзию, этого не надо принимать всерьез. А хаять ее есть за что и будет за что даже при полном коммунизме.

Поэзия познается по тому положительному, что она дает. И если сделать сборник положительной нашей поэзии, то он будет весьма объемистым.

Верно, конечно, что мы выпускаем четверть настоящей поэзии и три четверти мусора. И все же, когда будем собирать все настоящее, мы увидим: наша эпоха отражена в поэзии гораздо больше, чем в прозе.

Недавно я прочел поэму чудесного поэта Василия Казина. По-моему, еще никто так не описывал, как он, первый ленинский субботник. Всем вам очень советую прочесть ее. Казин не пропустит безвольной строки — каждая строка у него как солдат.

Я надеюсь, что вы меня не подведете и через года два услышите мой восторженный отзыв. Я никому не хочу причинять зла или показать, какой я умный. Просто говоря, тот этап, который вы еще переживаете, я уже пережил, потому и указываю вам на недостатки.

Чтобы вы не огорчились, что я вас избрал как жертву, беру еще одно стихотворение также, видимо, талантливого человека (говорю это не в качестве комплимента). Вот его стихи:



Набегая под наклоном,
Ветер выл на голоса.
Между белым и зеленым
Отчужденья полоса.
А грачи вовсю орали,
Гомонили до зари.
А сугробы догорали,
Приседая до земли.

Мысль правильная: между белым и зеленым отчужденья полоса. Это начало весны. А «ветер выл на голоса» — сказано неточно. Если баба плачет, то в голос, а не на голоса... Можно выть на разные голоса. А у вас получается, что где-то выли голоса, а ветер выл на них, так же как собаки воют на луну.

Я бы посоветовал начать стихотворение так:

Между белым и зеленым
Отчужденья полоса...

Сразу видишь начало весны, сразу понятно, что происходит.

А грачи вовсю орали,
Гомонили до зари...

Гомонить и орать — разные понятия.

А сугробы догорали,
Приседая до земли...

Зачем вам «а»? Здесь ведь надо «и». Затем, почему они приседали до земли? Когда я сижу на стуле, я не говорю, что я сижу, приседая на стул. Если вы говорите про сугробы, что они догорали, «приседая до земли», значит, они были где-то



сверху, а не на земле. Они просто все ближе принижались к земле...

Когда речь идет даже о неодушевленных предметах, делайте им человеческие судьбы. Тогда все будет выглядеть гораздо теплее, человечнее. Возьмите «Парус» Лермонтова. Разве это о парусе? Это же о человеке, о его судьбе. А когда вы говорите, что сугробы приседали до земли, у меня создается комическое впечатление. По вашему мнению, это поэтический образ? А посмотрите, что с ним происходит. Этот образ похож на человека, не умеющего владеть биноклем. Он поворачивает бинокль в другую сторону, и все отдаляется от него... Так и вы: вместо того чтобы приблизить предмет, отдаляете его...

Догорали и чернели,
Слякотя...

Нехорошее слово! Его мог бы употребить Маяковский там, где он издевался бы над чем-нибудь — над тем же торгашом, чтобы создать противное впечатление о нем. Это слово тогда подошло бы, но оно не для вашего стихотворения.

...И, не пыля,
Таёт снег.

Еще бы пыля!

Почерневши, коченели
Неодетые поля.

Я бы написал: «полураздетые поля». Они не голые и еще не одетые. А неодетые поля — это же осень. А весной они в заплатках, полураздетые... Не думайте, что я придираюсь к строчкам. Я все время наталкиваю вашу мысль на точность показа.



Белый был уже несмелый,
А зеленый выжидал...

Понятно, что вы говорите о белом и зеленом цветах. Но у меня, который помнит гражданскую войну, это вызывает другие ассоциации: «Белый был уже несмелый» — это когда мы турнули его из Крыма, а «зеленый выжидал» — это когда он по хатам прятался.

Стихотворение должно быть написано для всех возрастов, даже детского.

Белый, в черный то и дело
Погружаясь, пропадал.

«То и дело» здесь не нужно, к сути не относится. Ведь каждое стихотворение имеет свой словарь, и каждый поэт тоже имеет свой словарь...

Старайтесь, где только можно, держать в центре внимания человека, тогда все станет куда убедительнее...

Угловаты сучья клена...

Дело не в угловатости. Они и летом угловаты. Нам нужен признак весны. Ищите то, что бывает с кленом именно весной. Сучья клена всегда угловаты. Или надо быть мичуринцем, чтобы вырастить новый сорт клена. Закрываю разбор стихотворения: начало весны я вижу только в двух строках — «между белым и зеленым отчужденья полоса». Так или не так? (*Голос с места: «П р а в и л ь н о».*)

Хочется, чтобы вы сами сознались в своем «преступлении», и тогда я смягчу вам «наказание».

Когда Лев Толстой описывал Бородинское сражение, оно происходило у него на письменном столе. Он видел все, каждого солдата. Когда я читаю ваше стихотворение, мне кажется



ся, что вы плохо видите то, о чем пишете. Я всегда говорю молодым поэтам: «Ищите точности выражения для передачи читателям своего видения». Для этого не надо ничего необыкновенного...

В дни моей далекой юности я жил в Москве, на Покровке, в общежитии. Ко мне приехал отец, впервые очутившийся в нашей столице. Он сказал мне: «Какая замечательная церковь тут недалеко!» Я пошел, посмотрел — действительно замечательная церковь. Я каждый день проходил мимо и не замечал ее, а он приехал и увидел ее свежими глазами.

Мы должны показывать читателю то, что он пропускает и не видит своими глазами. А когда мне подсовывают угловатые клены как признак весны — я не соглашаюсь...

Если вы устали от разбора стихов, мы можем поговорить с вами на любую другую тему. Задавайте мне коварные вопросы. Что вас волнует? Чувствуете ли вы недостаток сил, когда пишете, ощущаете ли вы, в чем этот недостаток?

До сих пор я помню, как впервые выступал в комсомольском клубе с чтением своего стихотворения.

С тех пор я привык к большой аудитории. Привычка эта пришла не сразу. Для этого мне пришлось прожить джамбульский век. Постепенно все приходит. Придет и к вам знание и понимание точности стиха. Только сохраните все, что сейчас пишете, чтобы потом умиляться своей молодостью...

Очень важно понимать прозаизмы, их значение в стихе. Они действуют иногда сильнее поэтических образов. Я очень



люблю слова-прозаизмы, а раньше пользовался ими неумело. (*Голос с места: «Как вы думаете — верлибр привется?»*)

Он может привиться, как в ботаническом саду прививаются тропические растения. Но даже Маяковский, ломая, революционизируя стих, пришел к ямбу Пушкина, хотя ямбы у них разные. Читая: «как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима», — сразу слышишь: это Маяковский. Пушкин не сказал бы «сработанный», но это слово прекрасно звучит у Маяковского...

Я от вас требую, как от мастеров, высшего качества, и если вы освоите хотя бы пятьдесят процентов моих требований, я посчитаю нашу беседу бесполезной.

Ко мне поступило еще одно стихотворение — в одну строку. Это тоже образец желания оригинальничать:

Пью пиво. Пена. Два проливных дождя. 73 копейки за все.

Какая мысль в этой строке? Вы хотите снижения цен на пиво?

При чем тут проливные дожди? Вы намекаете на то, что в пиво подливают воду?

У японцев есть трехстрочное стихотворение «хокку» и пятистрочное «танка» — это же богатейшая вещь! Но ведь у вас совсем не то. Я тоже могу написать: «Пью водку. Идет снег. Друг угощает. Ни копейки не стоит». Чем моя мысль хуже вашей? (*Голос с места: «Лучше».*)

Даже лучше. Потому что 73 копейки останутся при мне, а за разбираемое сейчас стихотворение я не заплачу бы ни копейки.

Предостерегаю вас: избегайте ложной мудрости! Она засасывает.



Пушкинское «Брожу ли я вдоль улиц шумных» написано о таких вещах, которые все знают: о жизни, о смерти. Но написано так, что никогда не забывается. Стихотворения же о пиве я тоже не забуду, но не забуду как анекдот...

Сейчас мне подбросили короткие басни:

Везде кричит башмак о том,
Что у него земля под каблуком...

Осел с волками дружбу свел,
На то он и осел.

С баснями — беда. В них нередко берется то, что лежит сверху. А то, что берут сверху и вставляют в басни, лишено мысли. Когда Михалков начинал писать басни, он делал это свежо — помните про лису?.. Он внес в басни советское качество, которого не было у Крылова, и басни Михалкова заминались, приводились как цитаты... А так — я возьму любую поговорку и сделаю басню. К примеру, лечил меня один зубной врач, много говорил, но зубы не вылечил. Мораль: не заговаривай зубы. Вот и басня, в которой подмечено все, что лежит сверху.

Мы будем с вами переходить от забавного к серьезному и наоборот — ведь беседа должна быть человеческой. Вот еще басня:

Он на исходе долгой жизни
Делился опытом своим,
Когда работал под нажимом,
То сразу делался тупым.

Это немного лучше, но здесь тоже ближайшая ассоциация.



Вот еще одно стихотворение, в котором сказано: «Дождь прошлепал босыми ногами». Какие же ноги у дождя? У него нет ног. О дожде много и хорошо написано. Блок, например, писал о мертвом и тут же показал дождь, и его образ получил потрясающую силу. Простыми средствами, как я уже говорил, достигается необычайный эффект. Вот почему великих поэтов надо перечитывать. Вспомните, как Маяковский писал: «Мария — дай!» Благодаря ему было свергнуто царство искусственной поэзии. Роль Маяковского в этом поистине титаническая!..

Почитаем еще одно стихотворение:

Утро. Хата. Бабка. Печь.
Кашель деда. Скрип и речь.

Здесь *скрип* и *речь* сливаются — получается «скрипиречь». Дальше:

Почесал затылок дед,
— Ах,— сказал,— один ответ,
Быть по-твоему, старуха,
Непослушное ты ухо,
Так и быть уж — разбуду...
Гляю...

Что это? Народный говор? А почему я должен говорить, как говорят в деревне Малые Мочалки? Здесь утеряна русская сказка: нет ни ковра-самолета, ни «ТУ-104»... Снижена русская сказка, а она сама по себе великолепна.

Писать можно обо всем, лишь бы это обогащало читателя. Сразу, может быть, и не попадешь в мишень, но ты стреляй в нее.

Вот еще стихотворение, в котором каменная баба назва-



на бабенкой. Это все равно что сказать, что я Юрий Власов. Вы все время идете к цели и не доходите до конца. Вам кажется, вы наделили силой каменную глыбу. Почему вы обращаетесь к ней как с скифке, а не как к каменному изображению? Представляю, какое впечатление произведет на нас ребенок, который назовет свою прабабку прабабенкой!

Не мудрите! Если аромат, то аромат, а не сложное соединение... А когда вы начинаете мудрить, то я, к несчастью, и сам умный...

Я за то, чтобы искусство было беседой. Все искусство, даже пейзаж,— беседа. Вспомните картину Левитана «Над вечным покоем» — это ведь беседа. Я смотрю на нее, и у меня рождаются какие-то мысли... А когда мне про каменную бабу говорят: «бабенка», я все равно ею не увлекусь... Брак не состоится, нет!

Я за оперативность лечения, а не за терапевтическое лечение. Боль — великая вещь. Если бы ее не было, людей умирало бы в десять раз больше. Боль предупреждает, что какой-то орган болен и что нужны или срочная операция, или быстрое терапевтическое лечение. Так же и у вас: какое-то лечение вам нужно. Я никогда не стесняюсь огорчить молодого поэта. Это ему всегда полезно. А если я буду говорить вещи только приятные, то они ведь не нужны ни вам, ни мне.

1964

РАЗГОВОР С МОЛОДЫМ ПОЭТОМ

Казахское государственное издательство художественной литературы в 1953 году выпустило сборник стихов Леонида Кривошекова «С открытым сердцем».



Поскольку сердце открыто, нам легко разобраться в том, что в нем происходит. А наряду с хорошим происходит и не совсем хорошее.

Л. Кривощекоев, несомненно, человек талантливый, но часто он больше любит свои переживаниями, чем заражает ими читателя. «Ах, как мне грустно» или «Ах, как мне весело» — это еще не есть переживание, это только сообщение о нем, а мы такому сообщению можем верить и не верить. Чаще не верим.

Когда пишешь рецензию о какой-нибудь книге, вникаешь не только в ее содержание. Стараешься мысленно представить себе автора, даже его внешний вид, что с ним происходит и, главное, что еще произойдет, и стараешься, чтобы твой отзыв о нем принес ему пользу.

Постараюсь представить себе Леонида Кривощекова.

Это, на мой взгляд, молодой, одаренный человек, больше любящий себя, чем то, что он делает (это, впрочем, беда

Основной недостаток многих стихов — небрежная рифмовка. Стихотворение, как человек, должно быть хорошо одето. Не следует его выпускать перед читателем в грязном платье.



не только многих авторов стихов, но и авторов некоторых романов). Стремление быть интересным, если писатель не всегда располагает достаточными для этого средствами, легко воспринимается самим автором, но тяжело переживается читателями. И вместо того чтобы признать недостаточность своего мастерства, вместо того чтобы повышать его, они — эти поэты и прозаики — обвиняют тех, кто их критикует, в непонимании художественной прозы и поэзии.

Поэзия — это неисчерпаемое богатство. Сколько его ни раздавай, никогда банкротом не станешь. А разве это богатство:

Задыхаюсь от ветра и плачу,
Не желая другого пути.
Только так, через все неудачи,
Напрямик за любовью идти.

Это самолюбование, а не богатая индивидуальность.

Или:

В заводь синюю желтый клен
Опрокинулся вниз головой.

Сергей Есенин и другие большие поэты уже давно опрокинули в заводь всю нашу растительность. Писать так — это все равно что пытаться в наши дни заплатить в магазине оветшалыми дензнаками. Кассирша чека не выбьет.

Почему я так зло пишу о Леониде Кривощекове, который в общем как поэт мне нравится и который в значительной части своей поэтической работы достоин похвалы? Потому, что, мне думается, он похвалу воспринимает неверно — он воспринимает похвалу как разрешение работать небрежно. Этих небрежностей в книге очень и очень много:

Встает над городом
Сентябрьский рассвет...



Нужно прибавить слог,
чтобы вторая строка была
удобочитаемой.

Обращайте внимание на температуру стиха. Пусть будет хотя бы 37 градусов. Только сорока градусов не надо. Получится бред.

Нахлынула к сердцу жалость,
И старому стало тепло,
Сиротка-внучка прижалась
К промасленной куртке его...

Не говоря о дурной рифмовке, это сентиментально. Чувство заменяется здесь видимостью чувства. Такое наблюдается во многих стихах молодого автора:

Ни слова б я о нем не обронил,
Когда б не опьянел от ароматов...

Эти ароматы сильно отдают одеколоном.

Работяга мой город. И я
Тем напомяну, кто точит клыки...

Точат клыки скорее резчики по кости, чем империалисты, которых имел в виду автор.

Как-то июльским погожим днем
Мы шли хлебами под синим небом.
Это было в сорок седьмом.
Моим спутником был агроном.
Он Героем Труда еще не был.



Даже для прозы это слишком неуклюже. Таких строк в книге встречается, к сожалению, немало.

Я намеренно не процитировал ни одной хорошей строки, а они в книге есть. Не процитировал вот почему. Если на первом этапе пути похвала служила поэту подмогой, то сейчас, неверно воспринимая похвалу, он находится на пути не к хорошему, а, скорее, к дурному. Право же, Л. Кривошеков должен снизить самоуверенность и прибавить себе робости, необходимой поэту даже при самом отчаянном дерзании.

1953

МАЛО КРАСОК — МАЛО ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТИ

Возрожденная Литва — вот основная тема стихов книги Вациса Реймериса «Литовская весна» («Советский писатель», 1952, 160 стр.). От первой до последней страницы каждой строчкой молодой поэт говорит о своей преображенной родине. Есть строки вдохновенные, пленяющие читателя; попадаются и строки, оставляющие нас равнодушными. Но в целом Вацис Реймерис — поэт, книгу которого хочется иметь в своей библиотеке.

Особенно хорошо стихотворение «Он видит». В нем говорится о патриоте, который потерял зрение в бою, но сердцем своим ощущает все то прекрасное, за что он боролся. Заканчивается стихотворение так:

И замолк он, сухой, остролицый,
Неподвижно уставясь в окно,
Но казалось, пустые глазницы
Досказали, чем сердце полно:



«Вижу утро в торжественной дали,
Не на вечер, на утро смотрю.
Мы сияние глаз отдавали
За его золотую зарю».

В стихотворении «Школа в замке бывшего поместья», вспоминая о тяжелом прошлом Литвы, поэт говорит:

Здесь, заглянув в окошко хаты,
Дивилась бледная луна:
С чего батрацкие ребята
Еще бледнее, чем она?..

Нет возможности в короткой статье показать все то хорошее, что есть у Вациса Реймериса. Да он, пожалуй, в этом и не нуждается. Каждый хороший поэт сам знает, чем он богат. А вот то, чем он беден, хороший поэт не всегда знает, не всегда точно чувствует. Это и хотелось бы ему подсказать.

Книга стихов может быть посвящена одной теме, и в этом ничего дурного нет. Но в таком случае стихи должны быть поданы в разных планах. А если много стихов подано в одном плане, то невольно получается впечатле-

Стихотворение должно оплачиваться как стихотворение, а не как определенный набор строк. Это принесет пользу и редакции, и поэту, и читателю.



ние, будто бесконечно повторяется одно и то же стихотворение. «Раньше было плохо, а теперь хорошо». Так можно сказать один, от силы два раза. Черная и белая краски — далеко еще не все краски художника. А в книге Вациса Реймериса мало переливов. Все время «прямое освещение».

Редактор сборника П. Антокольский был слишком добрым. А в искусстве суровый человек более добр, чем добрый. Суровый редактор, желающий помочь автору, не напечатал бы таких строк:

...Знайте, что препятствий непреодолимых
Нету для того, кто стал большевиком.
Помните: под красным знаменем стоим мы.
Помните: в семье советской мы живем.

Эти истины все мы, читатели и поэты, давно знаем и любим. Для чего же их еще раз зарифмовывать, поэтически не решая важной темы? К сожалению, таких строк многовато, и за ними иногда теряется облик талантливого поэта. Одно хорошее стихотворение всегда лучше, чем одно хорошее и одно плохое. Чувство отбора изменило В. Реймерису.

Хочу упомянуть и еще об одном недостатке, свойственном не только В. Реймерису. Речь идет о ложном мастерстве. Допустим, вы придумаете форму строфы: шесть строк на одной рифме или повторяющаяся строка в конце каждой строфы. Это хорошо только в том случае, если из этих готовых формочек вырывается темперамент. Если же темперамент застывает в них, как желе, то это уже не мастерство, а стихотворное упражнение. Именно это и произошло у В. Реймериса со стихотворением «Мое поколение». В нем шесть строф, и каждая заканчивается строкой: «Поколень мое». Сказано громко, а между тем мы остаемся совершенно равнодушными. Почему? Потому что это сделано на-



рочно, это не темперамент, а остывший кипяток в шести одинаковых чайниках.

Можно не сомневаться, что Вацис Реймерис подготовит новую книгу. Он талантлив и, наверное, чуткий человек. Настолько чуткий, что в следующий раз, надеюсь, удовлетворит пожеланию — более строго отбирать стихи для сборника.

1954

В ОТКРЫТОЕ МОРЕ!

Марат Тарасов талантлив. Доказать это нетрудно. Бывает, что, относясь хорошо к человеку, не желая его обидеть, стремишься быть к немунисходительным и гуманным и, обливаясь потом, тащишь в гору то, что должно оставаться в долине. Доказываешь недоказуемое. Должен признаться, что и я иногда этим грешил. С Тарасовым этого делать не нужно. На каждом шагу в его книге «Малая пристань» попадают отличные

Не могу я погрузить вас в тайну стиха. Могу только подвести вас к этой тайне. Если бы в поэзии не было секрета, то все были бы поэтами и не осталось бы читателей.



**В стихах издержки производства.
Так и должно быть! Если станок
не работает, нет и стружек. Рабо-
тайте!**

строфы. Он умеет не только увидеть, но и передать виденное. Передать со вкусом, с соблюдением «поэтической экономии» и, главное, непосредственно общаясь с читателем.

В стихотворении «На карельской границе» всего три строфы. Приведу вторую и третью:

Чтоб недруг,
хитрый и умелый,
Сюда во мраке не проник,
Здесь ночь нарочно стала белой,
Прозрачной,
как лесной родник.
Но если враг к границе выйдет,
Сумеет обойти дозор,
Сама земля его увидит
Глазами тысячи озер.

Можно было сказать, как много раз уже говорилось, что часовые неизменно бодрствуют на наших границах, что враг не пройдет и т. д. и т. п. Свежесть восприятия и передачи, образность — вот в чем достоинство этих строк.

Много хорошего в «Малой пристани» Марата Тарасова: «Баллада о плавучем таране», «Вербовщик», «Служитель маяка», «Альбом» и другие



стихи. Но я не ставлю своей задачей в газетной заметке показать и перечислить все то хорошее, что есть в этой книге. Мне хочется, чтобы поэзия М. Тарасова стала читателю не только полезной, но и необходимой. И если мой опыт сможет помочь поэту, охотно поделюсь им.

Повествовательность, не подкреплённая поэтическим темпераментом, делает стихи скучными.

Вон там стоит домишко, скособочась.
Он побурел и плесенью пропах.
Давно ль еще
В нем отдавали почесть
Лишь сундукам, что гнили в погребках.

Давно ль хозяин, властен и прижимист,
Не знал нужды ни в чем, да и ни в ком,
И в нем жила звериная решимость —
Держаться от людей особняком.

Но как-то хворь скорезжила старуху,
Он заметался, ужасом гоним,
Возвал к святым — ни слуху и ни духу,
Позвал врача — и тот уж перед ним.

«Он заметался, ужасом гоним» — это для командировочных. У постоянных жителей поэзии это вызовет только улыбку. Что же соблазнило поэта? Ложная значительность. «Давно ль еще в нем отдавали почесть лишь сундукам, что гнили в погребках». Не проще — «почитали»? Но ведь «отдавали почесть» звучит «значительнее».

Сколько такой ложной значительности в книжках многих молодых поэтов! И строфы как будто плотно склочены, крепко связаны, а тебе от этого ни тепло ни холодно. Еще одна строфа. Из стихотворения «Вербовщик»:



Лучше правду дай без уверток,
Не боясь, что сердца остудит,—
Лес
людей уважает твердых,
Слабых духом любить не будет.

Во-первых, давно известно, что лес не любит «слабых духом». Во-вторых, в стихах уже столько раз «остуживали сердца», что это начинает иметь «промышленное» значение. И в-третьих, самое главное: о пустяке сказано таким значительным тоном! Дважды два — четыре снабжено «железным» ритмом и выдается за высшую математику.

Я считаю Марата Тарасова талантливым поэтом. Почему же именно на него я набросился со своими требованиями и упреками? Потому, что, причалив к его «Малой пристани», вижу, что здесь занимаются малым каботажным плаванием. Уверенный в силе Марата Тарасова, я зову его в открытое море.

Поэт должен вести. И когда Марат Тарасов это усвоит, у него исчезнут стихи, подобные вот этим:

В твоих садах
на юных кленах
Блестит вечерняя роса,
И всюду слышатся влюбленных
Взволнованные голоса...

Вместо того чтобы услышать, как и что говорят влюбленные, я должен утешаться тем, что их голоса «слышатся». Ветер должен быть пронзительным. И стихотворение тоже. Даже когда поэт притворяется очень спокойным.

Марат Тарасов способен сделать рывок, и он его сделает. Все данные для этого у него есть. Тогда хороший поэт станет близким читателю поэтом.

1960



ПИСЬМО ТОВ. N

Дорогой тов. N

За последнее время, работая в Литературном институте, я прочел много неважных стихов. И признаться, я приступил к чтению Вашей книги «На восточном рубеже» с большой опаской. Опасения мои, к счастью, не оправдались.

О недостатках Ваших я скажу в конце письма, так как человеку всегда приятнее выслушивать одобряющие слова.

У Вас довольно острый взгляд художника, видно, что Вы любите то, о чем Вы пишете, а также что хорошо знакомы с материалом.

Когда Вы пишете:

С большим военным искусством
Берет нас река в кольцо,—

я сразу вижу и реку и того, кто ее описывает.

Точно сказано:

Эта тишина всегда сродни
Грохоту сраженья на войне.

Сразу видна напряженная обстановка на границе, когда вы пишете:

Утро
Идет, не прячась, к нам из-за реки.

Его-то мы пропустим, пусть шагает,
Через границу в голубую даль.
А вот врага...

...Неласково мерцает
Советских автоматов сталь.



Хорошо, что у печки «сто веселых язычков», а у гитары «семь грустящих голосов». И хорошо, что струна еще дрожала, а Вы уже мчались в бой. И так же неплохо:

И под охрану дуб с акацией
Пшеницу юную берут.

Целиком хорош «Первый наряд». Много прелестных деталей:

...Летел, спешил во все концы
Народец птичий мелкий...
...Костюм с иголки. И галстук яркий.
И шляпа мягкая, хотя в ней жарко...
...И на столе поверх тетрадки сына
Лежит, желтея, кобура отца...

Стихотворение «У тоненькой березы-малолетки» меня полностью устраивает как читателя.

Я не могу Вам совсем подробно перечислить все, что мне понравилось. Для этого не хватило бы одной беседы, не то что письма. Так же не совсем полно я расскажу о том, что мне не понравилось.

Во-первых, книга несколько однообразна. И дело вовсе не в том, что она написана на одну тему,— это вполне допустимо. А дело в том, что многие стихи повторяют друг друга, и когда их читаешь, то кажется, что читаешь одно чересчур длинное стихотворение. И познавательность этих стихов становится чем дальше, тем меньше. Да, мы стережем границу, да, мы врага не пропустим, но ведь мы это уже знаем из предыдущих стихов. Значит, для каждого отдельного стихотворения нужно находить новые краски, и тогда нам станет все куда интереснее и мы будем все ярче видеть.



Не дошла до меня Ваша поэма «Где-то на границе». Рассказанное происшествие еще не есть поэма. Мне кажется, что Вы здесь подменили художественность занимательностью. И написана эта поэма довольно небрежно.

Вот о небрежности в Вашей работе я хочу поговорить с Вами поподробнее. Пора Вам уже становиться мастером. Есть у Вас для этого все возможности, а Вы ими пока не пользуетесь. Приведу несколько примеров.

В первом же стихотворении «Скульптура в Москве»:

Не спят на Сахалине где-то
И где-то среди лесов Карпат.

Карпаты так далеко отстоят от Сахалина, что слова «где-то» здесь не нужны. И почему «среди лесов», а не «в лесах».

Шел один —
с таблеткой, где чума...

Не по-русски сказано.

Образ — это еще не мысль. **Стих** — это одушевление образа. Кроме зримой идеи стиха в нем должны быть зримые люди.

...Нельзя просто повторять фольклор. Фольклор — это кладовая, из которой нужно брать для сегодняшнего дня.

Стихи должны обладать инфекционным свойством — заражать читателей.



Бывает стихотворение похожее на старинный пятак — большое, а ничего нельзя на него купить.

Уперлись дула, сердце обрывая...

Это как Лев Толстой сказал: «Он меня пугает, а я не боюсь». Очень много у Вас слов, сливающихся в одно, и от этого пропадает четкость стиха: «незакрывдверьвтемноту», «пластугольный», «луныскуднымсветом», «но ловит незвукивсеэти», «шагнулгостькак утка», «мелькнул плохоскрытый испуг», «вверхруки тянул, поражен», «припалкрыхлойпочве», «чужойслед, припрятанный ночью», «найтисьвновь совсем вдальеке», «недатыл забратся врагу», «внезапнобольному Сергею», «его поддержал другую», «Кузьмин водупил из стакана», «сапоглевый быстро снимите» и т. д.

Ритм в стихотворении не размер, а темперамент строки.

Видите, как много, а я ведь не все перечислил. У большого мастера так не бывает, мастер строку строит, а стихотворение лепит.

Давайте отметим дальнейшие небрежности.

Здесь каждый куст,
здесь камень каждый
Политы кровью храбрецов.



Гладкая фраза, писанная уже многими и многими поэтами.

И мой Качава, из засады
Вступивший с целой бандой в бой:
В час перебил он пол-отряда,
А остальных привел с собой...

Ну кто же этому поверит! Даже и если был такой случай, то надо было его убедительно показать, а не только сообщить о нем, и тогда читатель поверил бы.

Без памяти в крови и пыли...

Нужно «в пыли».

Молчал язык у воина-чекиста...

С таким же успехом может молчать и губа. Надо было просто сказать «чекист молчал».

Мечта девчат и гордость мамы...

У двадцатилетнего парня уже нет мамы, у него — мать. Это далеко не все огрехи, которые я заметил. На них Вам нужно обратить особое внимание, тем более что они не так уж непреодолимы.

Я думаю, что это происходит еще и потому, что у вас нет творческого общения. Будь оно, Вы могли бы учиться и на чужих ошибках, а не только на собственных.

Несмотря на всю критическую часть письма, я в Вас верю. Будете в Москве, поговорим подробнее.

1955



В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Мы справедливо требуем показа на сцене нашего современника — живого советского человека. Но обыкновенного живого человека нельзя выволакивать на сцену. Он просто застесняется и тут же убежит за кулисы. На сцене нужен артист, то есть живой человек, помноженный на искусство и мастерство.

Что нам импонирует в герое? Когда он несет идею в себе. И нас очень огорчает, когда он несет идею на себе, когда она только от него отражается.

Идея, просвечивающая сквозь героя, а не как заплечный мешок, носимая им! Видеть в герое не только то, что все видят, а обнаружить в нем те ультракороткие волны, которые может увидеть только художник. Мы настолько богаты, что можем позволить себе не отказаться от капли волшебства.

Нам иногда препятствуют в этом. Но неужели мы должны испить из чистого источника искусства только после того, как в нем выкупался редактор?

Как часто мы видим, что критик несет идею не в себе, а на себе, но не он, а мы, бедняги, сгибаемся под этой нелегкой кладью.

Почему мне не нравится большинство героев из наших современных пьес? Потому, что они пребывают в пределах чувствований, а не чувств. Потому, что, по сути дела, их внутренний мир беден, и автор, чтобы сделать своего героя интересным, прибегает к помощи происшествий.

Я вспоминаю «Вишневый сад» Чехова. Всего одно происшествие — продажа сада, а какая огромная человечность держится на одном этом происшествии!



Проверим наш репертуар. И мы увидим, что во многих пьесах есть какое-то наперед заданное чувство.

Да и в стихах его сколько угодно. Парень и девушка работают на стройке. Они любят друг друга. Но написано это такими отработанными приемами, что если выбить из-под влюбленных стропила, они упадут в девятнадцатый век.

Партия требует — сегодняшними глазами показать сегодняшнего человека. Мы в меру сил стараемся справиться с этой задачей, но далеко не всегда достигаем этой вершины. Это потому, что мы отмахиваемся, и очень легкомысленно, от еще одной нависающей над нами опасности — легче популяризовать, чем творить! Легче работать для населения, чем для поколения! Не только отображать жизнь, но и создавать ее! Не только человека, каков он есть, но и такого, каким он должен быть! Прибавлять к жизни, а не бежать взапуски рядом с ней!

Инженер построил хороший мост. Он может построить еще тысячу таких же мостов. Но в поэзии это не так: в поэзии каждый мост — другой.

Условное решение спектакля несколько не мешает, а, наоборот, помогает самочувствию актера и восприятию зрителя. Конкретность небольшой детали делает жизненной любую абстрактную сценическую площадку.



Была где-то точная характеристика писателя: властитель дум. Партия это право писателя всемерно поддерживает. Большой писатель — это первый советчик партии.

В чем причина схематичности многих наших произведений? Берутся четыре действия, разделяются на клеточки, в эти клеточки выдавливается несколько тубиков текста, и автор считает, что дело сделано.

Вся наша жизнь — это служение советской власти. И это служение должно быть всегда благородным и никогда — льстивым. Советская власть — это не девушка, которой говоришь хорошие слова и она млеет. Советская власть — это седая женщина, прожившая светлую, но трудную жизнь, и с ней надо говорить честно и прямо.

Так ли все идеально в нашей жизни? Нет, не все идеально. Должны ли мы для своих произведений отбирать только хорошее? Нет, не должны. Важно единственное — куда устремлен писатель? Если его стремления совпадают со стремлениями партии, он может писать, как хочет. Никакого формализма тут быть не может, будут только творческие поиски правды.

Служение Родине — обязанность благородная, но это благородство не должно носить на себе ни малейшего пятнышка ханжества.

ДОВЕРИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ

Когда мне интересно в кино? Сначала я скажу, когда мне неинтересно. Мне неинтересно в кино всегда, когда мне рассказывают то, что я уже знаю.

«Я» — это в данном случае условность. «Я» — это не только я, но и все остальные, кто хочет что-то узнать, чему-



то удивиться, чему-то обрадоваться, над чем-то проследиться.

Мне интересно в кино всегда, когда фильм заставляет меня сосредоточиться на каком-то явлении, на котором я обычно не задерживал взгляда. В кино мне интересно, когда я знаколюсь с интересными людьми, желательно более интересными, чем я сам. Да и все, мне кажется, ищут в кино людей, которые сильнее нас, мудрее, добрее, счастливей.

Это не значит, что я за выдумывание искусственных характеров, невозможных, идеальных характеров. Нет, долг любого художника, а особенно художника кино, — найти среди нас, людей, человека, достойного пристального внимания, подсмотреть в жизни уже существующие новые явления и со всей страстностью доказать их жизненность.

То есть в кино мне интересно всегда, когда оно, кино, не «отражающее зеркало, а увеличивающее стекло».

Мне интересно в кино только тогда, когда глубине и значительности темы соответствует, как говорится, высокохудожественное решение. Ужасно неинтересно в кино, товарищи, когда авторы фильмов подсовывают нам холодные схемы, назидательные рецепты или казенное, уставное бодрячество; за схематизм и назидательность в кино нужно, по моему, судить военно-художественным судом. Такие фильмы, как «Улица Ньютона, дом 1», кажутся мне профанацией искусства не только потому, что характеры в картине, несмотря на внешнюю современность, первобытно-вульгарны или уныло, искусственно «утонченны», не только потому, что конфликт и способы его решения удивительно шаблонны и примитивны, но и потому, что язык, стиль этого фильма претенциозен, и именно потому он косноязычен.



Сравнивая кино, например, — нет, с поэзией не буду сравнивать, — например, с балетом, с грустью убеждаюсь, что обязательные для балета нормы профессионального мастерства не стали еще обязательными для многих кинематографистов.

Вот балерина. Прежде чем ей, балерине, доверяют создание каких-то образов, она обязана достигнуть определенного технического уровня. В кино же нередко видишь, как суконым, невыразительным, неточным языком излагается событие, в основе которого важная проблема; как грубо лепятся характеры — они похожи на бумажные цветы, в них нет запаха своеобразия.

Вот опять балерина. Когда балерина плохо танцует, она не может сказать в свое оправдание: да, но зато какую идею я выражаю!

Идея существует, только блистательно выраженная!

Во всяком искусстве идея неразрывно связана с формой, так что выражается она, идея, только через форму, художественную ткань произведения.

Когда балерина танцует Джульетту хорошо и ее Джульетта хорошо умирает, только тогда она, Джульетта, живет, тогда ее сущность, ее идея существуют; когда балерина танцует плохо, *не существует* никакой идеи. Пора бы эту нехитрую вещь уяснить кинематографистам. Когда фильм с большой идеей в основе «поставлен» нехудожественно, неточно, нетонко, тогда идеи в фильме нет, какие бы монологи ни произносили положительные герои. Нет идеи, совсем нет, она умерла, не родившись.

Зато какое наслаждение смотреть фильм, в котором идея, духовная мысль органически вырастает из художественного анализа умно и точно отобранных художником моментов реальности, когда средства этого анализа тонки и глубоки.



Например, один из моих любимых фильмов — «Баллада о солдате». Это фильм, в котором мера условности, высокой художественной образности найдена в верных пропорциях.

Вернусь сейчас опять к балету. Балет весьма условное искусство, содержание в нем выражается при помощи танца, пластических движений, и тем не менее балету удавалось, как известно, выражать самые сложные проблемы, самые большие идеи, самые тонкие проявления человеческих характеров. И никто при этом не требовал, чтобы над сценой висели лозунги и плакаты, декларирующие идею балета, — все доверяют условности, художественному языку танца. Кино, как и всякое другое искусство, условно, хотя условность экрана совершенно другого характера. Только поверхностному человеку может показаться, что «документальность» кино дает ему право быть натуралистичным. Нет, просто язык кино, как мне кажется, это язык, в котором на-

Сколько мы видели на сцене и в кино ветеранов войны, диалог которых неизменно начинался с фразы: «А помнишь!..» И затем возникали батальные сцены. Этих «А помнишь!» в искусстве так много, что нужен арифмометр, чтобы сосчитать их.



туралистические приметы суть особый вид условности. Искусство всегда *выражает*, и не важно, выражает ли оно нечто при помощи жестов, слов или смонтированных кусков реальности, — всегда надо искать в искусстве способность *выражать*.

И вот, возвращаясь после столь теоретического периода к первоначально поставленному вопросу, я хочу сказать, что мне интересно в кино тогда, когда я вижу, что авторы фильма доверяют художественному языку кино, его способности выражать любые идеи и чувства, а не апеллируют к безусловным формулам, тезисам, чуждым художественному мышлению.

Все передавать через поэзию, — учил Белинский. Все передавать через художественную ткань — вот тогда будет в кино интересно.

Я настойчиво говорю о том, что это главное, вот чего я жду от кино и что хотел бы чаще в нем встречать. Доверяйте искусству, товарищи кинематографисты, и не раскрашивайте скульптур!

1964

О ФИЛЬМЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Смотришь «Молодую гвардию» и как будто перелистываешь страницы своей юности. Комсомол несколько не постарел, несмотря на то что с Октябрьских дней до Отечественной войны прошло около трех десятков лет. И это мгновенно вызывает благодарность зрителя режиссеру и коллективу артистов.

Искусство — это не копирование действительности, а вера в нее. Вот почему я предпочитаю романтизм реализму. Для



меня Красная Шапочка куда более реальное существо, чем Кавалер Золотой Звезды, а волк значительно более опасный классовый враг, чем кулак во многих поверхностных произведениях. Вот почему этот фильм так дорог мне и как художнику и как гражданину.

Никакого бы не было неба, если бы не было земли. Над всем нашим бытом, со всей его крупной и мелкой суетой, художники — режиссер и артисты — повесили звезды воспоминаний о том благородном, к чему мы стремились и стремимся. Можно идти к правде в искусстве разными путями, но не всегда к ней нужно идти только пешком. Орел — произведение земли, но это произведение летает. Поэтому я считаю «Молодую гвардию» и реалистической и романтической. Все мы — люди, мы едим, пьем, спим, но у нас есть мечты, которые никак не ощутить на ощупь. И большая заслуга и режиссера и артистов в том, что то лучшее, что мы встречали в нашей жизни, стало удивительно правдоподобным, весомым и зримым. Таково мое общее ощущение после просмотра фильма.

Я знал комсомольцев, подобных Олегу Кошевому, Ульяне Громовой, Сереже Тюленину, Любке Шевцовой и другим краснодонцам. Но я не думал, что они могут предстать предо мной с той же убедительностью, с какой они явились мне в первые годы революции. И это мешает мне отнестись к этому выдающемуся фильму с нужной взыскательностью. Но я все же попытаюсь это сделать.

Мне, скажем, хочется, чтобы Олег Кошевой был больше мальчиком, устремляющимся к революции, чем мальчиком со всеми повадками опытного профессионального революционера. Сколько лет было Олегу Кошевому? Лет девятнадцать-двадцать. Но ведь так же, как он себя ведет в картине, мог бы себя вести и пятидесятилетний большевик. Я прямо



затосковал, мне просто хотелось вскочить и попросить Олега: «Ну, стань же хоть на одну минуту неопытным! Не забывай, что ты — мальчик!»

Поговорим о песне в тюрьме. Я люблю, когда ко мне заходят в душу и тревожат ее. Но только надо, чтобы это продолжалось не больше одной-двух минут. Иначе боль становится ощутимо физической. И вот мне кажется, что громкая песня в тюрьме на крупном плане покоющих несколько соскользнула из области искусства в область демагогии. Думаю, что заглушенная стенами и пространством, на общем плане тюрьмы, чуть доносящаяся, она бы прозвучала еще убедительней. Может быть, и гитлеровцы-часовые на минуту задумались бы над тем — что же они страшное делают? Эта песня должна была дойти к нам в нескольких ракурсах, а не в одном-двух, в каких она к нам доходит.

Я не пишу научного трактата об этом фильме. Это только беглые замечания. Можно было более подробно разобрать и хорошие и более слабые стороны этой картины. Но это замечка об ощущениях, а не рассуждения профессионала. А ощущения такие, что хочется войти в этот мир комсомольской героини и никогда не выходить из него. Я ставлю своей задачей в искусстве — читатель или зритель, прочтя книгу или выйдя из театра, должен стать хоть немножечко лучше. Этого с полным успехом добились создатели «Молодой гвардии».





Самый большой соблазн для стареющего человека — это с умилением вспоминать: «А вот, знаете, в мои годы!»

Я на этот соблазн не пойду. Во-первых, потому, что мои годы принадлежат не только мне, во-вторых, потому, что такое отношение к прошлому выбивает из творческого состояния, и вместо страницы, на которой ты можешь написать очень нужное людям стихотворение, тебе начинает мерещиться пенсионная книжка.

Я убежден, что между моим и нынешним молодым поколением больше связи, чем различия. Оттого что стрелки стреляют в разные цели, их квалификация не меняется. Смена поколений не произошла, идет продолжение поколений. Если говорить точно, то я соучастник трех поколений — гражданской войны, первого периода строительства Советской страны и кончая тем периодом, когда Страна Советов стала могучей державой (в этот период входят и несколько лет Отечественной войны).

Что же произошло с советской молодежью? Она стала лучше или хуже? Ни то, ни другое. Конечно, внешне мальчишка, лежащий у пулемета и палящий по врагам, выглядит куда более соблазнительно, чем такого же возраста юноша



или девушка, совершающие свой трудовой подвиг. Но фактически и юный пулеметчик и улыбающаяся мне на стройке молодежь — идейно ближайшие родственники. Защищать идею можно не только оружием. Орудия производства — это то же оружие. Герой Николая Островского Павел Корчагин представитель не только военного периода советской власти, он представитель любого ее периода. Так же как я не могу понять, какой глаз нужнее человеку — правый или левый, так я не могу определить, какое поколение советской молодежи мне дороже — бывшее, теперешнее или будущее.

Естественно, что молодежь, которую я лучше знаю, это молодежь, занимающаяся стихами, сочиняющая их или читающая. Ее очень много. Культурная революция произошла. Средний уровень нашего искусства и нашей литературы значительно повысился. И так же как геологу наиболее интересно находить редкие земли, так и я заинтересован в том, чтобы находить редкие таланты. Мне не нужно прилагать большие усилия, чтобы их найти. Пусть кое-что мешает мне находить их в чистом виде — и желание их быть «интересными» (писать так, как до них никто не писал), и иногда забвение того, что ты пишешь для людей, и только для людей, а не только любишь своими роскошными переживаниями, и еще недостаточный опыт, — все равно это мое поколение, пусть я даже вдвое с лишним старше любого из них.

Мне хочется вспомнить один прекрасный рассказ Мопассана. В этом рассказе больше всех танцевавшая маска упала без сознания. Под маской оказался шестидесятилетний старик. Он не хотел уступить свое место всегдашнего победителя, но сил у него не хватило.

Так вот — этот рассказ Мопассан написал не про меня. Я еще не скоро упаду.

1965



ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ

Человек в своей короткой жизни бывает счастлив дважды: в первый раз, когда он слушает сказки, во второй раз, когда он их сочиняет.

Наша денежная реформа не застала меня врасплох. Уже несколько лет я мечтаю написать повесть о том, как некий рубль разбился на десять гривенников, и о невероятных приключениях этих гривенников. И вдруг — денежная реформа. И число «10» в этой реформе. Мне кажется, что это не случайное совпадение. Много лет тому назад я написал «Гренаду», после чего произошли всем известные события в Испании. Затем я написал «Каховку», после чего там выросла великая гидростанция. И вот совсем недавно я написал стихотворение «Голоса», которое удивительно подошло к запуску нашей ракеты на Венеру, хотя ни я, ни редактор об этом событии даже не подозревали.

Все это я говорю вовсе не для хвастовства. Просто мне кажется, что во мне есть нечто от прорицателя. И я искренне удивляюсь тому, что ко мне не съезжаются политические деятели разных стран с тем, чтобы я предсказал им их будущее.

Хорошие люди, когда приходит их смертный час, любят, чтобы их хоронили в ненастную погоду. Они любят, чтобы ноги друзей и родственников, провожающих их в последний путь, чавкали по грязи или мерзли от свирепого холода.

Они любят, чтобы в автобусе, в котором они приехали на кладбище с Ним и уехали без Него, было очень душно или очень холодно.



И в этом нет никакого эгоизма. В этом есть свой благородный человеческий расчет.

Они хотят, чтобы тряска автобуса, чтобы неожиданный прокол шины, чтобы ругань шофера, чтобы возмущение пассажиров (поскорее бы очутиться в тепле!) или неожиданно хлынувший ливень задержали друзей и родственников в пути. Короче, они хотят, чтобы все эти мелкие неприятности отвлекли близких живых людей от их большого горя.

И они правы. Разве мы не замечали, что на обратном пути наступает момент какого-то странного веселья, что пассажиры оживленно разговаривают и что некоторые поминки звучат сильнее, чем некоторые свадьбы...

Лил проливной дождь, когда Иван Никанорович Пастухов, работающий официантом в кафе на пятнадцатом этаже гостиницы «Москва», хоронил свою жену, с которой он равнодушно прожил около сорока лет, но смерть заставила его полюбить ее. И вот он уже два дня плакал искренними слезами, чего никогда не делал при живой жене.

Он посмотрел на свои ботинки. Они были сплошь в мокрой глине. Да и брюки глина задела.

«В таком виде нельзя являться на работу», — подумал он. Потом он подумал, что у него нет средств на поминки, потом он подумал, что шеф Петр Семенович не сделает ему выговора (смерть жены — уважительная причина), потом он подумал, что его соседу — безногому инвалиду — выдали специальный автомобильчик, потом он вспомнил, что для детских его дома строят спортивную площадку, потом он вспомнил, что у чистильщика обуви на углу есть специальная будка, и только потом он вспомнил о своем горе. Он окликнул свое горе, но оно не откликнулось, оно осталось на кладбище.



Он посмотрел в окно. Он увидел огромные, недавно выстроенные кварталы домов.

«Почему же я их раньше не заметил?»

Он был простой человек и не знал, что на пути к прощанию ничего не замечаешь, а на обратном пути начинаешь кое-что замечать. Он увидел, что дома построены квадратами и в каждом квадрате зеленеет большая площадка, а на одной из площадок он увидел бассейн, в котором, несмотря на дождь, плескались ребятишки.

Дождь прекратился, когда он подъехал к Охотному ряду. На углу рыли тоннель для прохожих, и, так как Иван Никанорович принадлежал к племени прохожих, он подошел посмотреть.

Фыркали какие-то машины, скидывали бедную землю с ее вековой постели, и какой-то человек бегал по краю огромной ямы и что-то кричал.

«Должно быть, прораб», — подумал официант, но тут же вспомнил, что опаздывает на службу.

Швейцар сочувственно встретил его.

«Почему у всех швейцаров бороды, а нормальные люди бреются? Такая борода при современной цивилизации! Старина, старина...» Торжественно осудив бороды, Иван Никанорович сразу повеселел и нажал кнопку лифта.

В служебной комнате он увидел накрытый стол. Его украшали несколько бутылок вина, блюдо с ветчиной и неожиданная ливерная колбаса (в кафе ее не подавали). Стол был рассчитан, как говорится, на восемь кувертов.

«Натюрморт», — сказал Иван Никанорович.

Этому слову научили его знакомые художники, посещавшие ресторан. Как-то он встретился с ними в вестибюле, где действительно висел натюрморт. Художники, подвыпив, ре-



шили позабавиться и хоть вскользь посвятить официанта в тайны своего искусства.

— Это натюрморт, — сказали они, указывая на картину. Иван Никанорович ничего не понял.

— Натурморт? — переспросил он.

— Натюр, а не натур!

— Натюрморт, — согласился официант. — А вот скажите, если бы вместо этого жареного тетерева на столе была нарисована вареная курица — это тоже натюрморт?

— Тоже.

— А если было бы нарисовано обыкновенное мясо, говяжье там, баранье или телячье, — тогда как?

— Натюрморт.

— А если бы никакого мяса не было?

— Натюрморт.

И тогда он понял, что в живописи произошла большая перемена — любая картина теперь называется «натюрморт».

И когда он однажды, работая не в ресторане, а разнося блюда по номерам в сопровождении начинающего официанта, увидел на шестом этаже какую-то батальную картину, он торжественно произнес: «Натюрморт».

Начинающий официант притворился, что понял.

Иван Никанорович снова удивился накрытому столу, и главным образом тому, что за этим столом никого не было.

Он сел, склонил голову на руки и слегка задремал. И ему показалось, что весь его сегодняшний прожитый день перенесли на холстину:

дождь — натюрморт,

дорога — натюрморт,

автобус — натюрморт,

гроб — натюрморт,

кладбище — натюрморт,



и вся его прошедшая жизнь — натюрморт, и его покойная жена Евдокия Марковна, уроженка Смоленской области, — самый главный натюрморт.

Полусонные слезы потекли по его щекам.

Его разбудили приближающиеся голоса. Вошло несколько официантов во главе с метрдотелем.

— Не удивляйся. Мы решили устроить поминки по твоей Евдокии Марковне. Пусть мы с тобой находимся на разных служебных ступеньках, но все мы детали одной лестницы, называемой жизнью, — несколько высокопарно произнес метрдотель, который недавно прочел четыре стихотворения Рабиндраната Тагора. У него лет двадцать тому назад умерла жена, а он все еще помнил ее и любил ее.

Все уселись за стол.

— Не больше чем по одной, — сказал метр. — Вы на работе. А тебе можно и вторую. У тебя горе.

Вино было разлито по бокалам.

— Памяти Евдокии Марковны! — сказал метр, и какой-то официант потянулся к нему чокнуться.

— На поминках не чокаются, — строго сказал метр.

Тихо выпили.

— Постарайся забыть свое горе, — продолжал метр. — Но это вряд ли тебе удастся. Я вот уже двадцать лет не могу позабыть собственное горе.

Один молодой официант, который чудом держался на ногах из-за злоупотребления не той жидкостью и в котором еще до поминок содержание превышало форму, с пафосом произнес:

— Не желаю я пить за покойных! Я желаю поднять тост за живых, за их дела, за их будущее! Ура-а-а! — завопил он во всю свою молодую силу.

— Дисциплинированный официант не имеет права кри-



чать, — сделал ему замечание метр. — Дисциплинированный официант даже слово «ура» должен произносить тихо.

— Ура! — шепотом прокричал дисциплинированный официант.

В ресторане наступили часы «пик». И если до этого официанты покидали подсобку отдельными группами, то сейчас, подчиняясь авралу, они оставили бедного Ивана Никаноровича в полном одиночестве.

За стеной играла музыка, веселилось подобие человеческого счастья, а он, грустный, сидел за столом и получал удовольствие от своей грусти. В таких случаях всегда тянет к поэзии.

Он помнил только две строки двух разных стихотворений. И сейчас он вычерпал до дна весь свой кладезь поэзии.

«Средь шумного бала случайно», — подумал он о себе под музыку и под шелест танцев в соседнем зале. И выпил.

— ...Извиняюсь, что без тебя, Евдокия Марковна, — сказал он и налил вторую.

— «Скажи мне, ветка Палестины», — продекламировал он ни к селу ни к городу, только потому, что знал эту строчку.

Иван Никанорович вспомнил начало своего романа с покойной Евдокией Марковной.

Она полюбила его как поэта. Дело в том, что Иван Никанорович (тогда еще Ванечка) вычитал где-то стихотворную строчку: «Встречая новую зарю» — и подгонял эту строчку под все случаи жизни. Скажем, его угощали вином. И тут же рождался экспромт: «Встречая новую зарю, вас за вино благодарю». Угощали папиросой, и к неизменной строчке: «Встречая новую зарю» — прибавлялась новая: «Вас за табак благодарю». И так во всех случаях жизни.

Это покорило Евдокию Марковну (тогда еще Дусю). Риф-



ма есть, — значит, и поэт есть. И она согласилась совершить с ним загородную прогулку.

Вечерело. Облака — эти одеяла господа бога — окутывали землю. Было очень тепло.

На пустынной лужайке в лесу они вдвоем уселись на траву. Иван Никанорович любил траву больше деревьев. На деревьях объясняются в любви только птицы и обезьяны. На траве в любви объясняются люди. И Ванечка объяснился. Набравшись храбрости, он предложил:

— Не разделите ли вы со мной свое будущее?

Любовь была велика, но Дуся все еще сопротивлялась:

— А если ваше будущее — тюрьма, так мне что — вам передачи носить?

Ванечка растерялся, но спасительная поэзия пришла ему на помощь. «Встречая новую зарю, вас за любовь благодарю», — выпалил он и мгновенно овладел ею. И сейчас же ему расхотелось жениться. Но греческая богиня любви Афродита могла доставить ему — русскому человеку — неприятности, и он прожил с Дусей около сорока лет. Детей у них не было.

«Как там они без меня справляются?» — рассек свои воспоминания Иван Никанорович и нетвердыми шагами вышел в зал.

Он мутнеющими глазами осмотрел зал. Почти всех танцующих он знал. Все они делились на две категории: кому можно давать в кредит и кому нельзя. И скучно, невыносимо скучно стало ему. Хотя бы ему какой настоящий авантюрист попался! Он продолжал озирать зал в поисках какого-нибудь настоящего авантюриста.

Его внимание привлек весьма пожилой человек, одиноко сидящий за столиком. Две опорожненные бутылки коньяка стояли перед ним. К нарезанному лимону он, очевидно, и не



притронулся. Он лениво смотрел на танцующих и думал какую-то никому не известную думу.

Ивану Никаноровичу этот человек показался подозрительным. Почему люди пьют? Потому что, когда они выпивши, им кажется, что они обладают неограниченной властью. И Иван Никанорович решительно подошел к незнакомцу:

— Ваш паспорт!

— А вы кто такой? — безразлично спросил незнакомец.

— Я работник одного учреждения, — смело ответил официант и тут же поправился: — Этого учреждения.

Незнакомец так же безразлично протянул паспорт, и Иван Никанорович прочел:

«Иван Иванович Рубль. Год рождения 1473».

Иван Никанорович во все глаза уставился на незнакомца. «Для своего возраста неплохо выглядит», — подумал он и сказал: «Извиняюсь» — и ушел обратно в подсобку.

Хмель как будто начинал проходить, и еще одна стопочка подкрепила гаснущие силы официанта. Душевное состояние восстановилось, и он опять готов был участвовать в любой сказке. Он вынул сигарету, а спички выскользнули из его дрожащих пальцев и рассеялись по полу. Он встал на колени, пытаясь собрать их. И ему показалось, что спички убегают от него. И не мудрено! Надоело им жить в этой чудовищной тесноте, в бараке, именуемом спичечным коробком, и каждая из них решила пойти по свету искать отдельную однокомнатную квартиру.

Не успел Иван Никанорович собрать все спички, как голова его просверлила поразительная мысль:

«Не может быть, чтобы нормальному человеку было без малого пятьсот лет! Пойду-ка еще раз проверю!»

Страшное зрелище ожидало его. Незнакомец, пошатываясь, ходил по самому верху балюстрады. Иван Никанорович



бросился было к нему, но было уже поздно. Иван Никанорович склонился над балюстрадой и посмотрел вниз. Он ничего не увидел. Он только услышал тихий звон. Это рубль, ударившись о тротуар, разбился на десять гривенников.

О дальнейшей судьбе этих гривенников, каждой в отдельности, и пойдет мое повествование.

НАБРОСКИ К «ВЗРОСЛЫМ СКАЗКАМ»

И тогда официант понял, что куда выгоднее быть землепроходцем. Вернее, он это не понял, но почувствовал. И тогда он, имея в запасе полчаса на службе, спустился вниз, и — это ему показалось странным — никто его не принял за официанта.

Люди рубили земную кору. Поскольку у него еще осталось двадцать восемь минут времени, он взял какой-то инструмент, напоминающий мотыгу, и начал ковырять землю. А незнакомый человек, проходивший мимо него, спросил:

— Ты ударник?

Проходивший мимо него другой человек спросил:

— Ты стахановец?

Проходивший мимо него третий человек спросил:

— Ты из бригады коммунистического труда?

Официант, усердно копающий лопатой на механизированном участке, был в это время куда более счастлив, чем я и вы. Ему казалось, что он весь во власти вольного труда. Ему показалось, что все молнии на небе это официантки и они ему подадут то, чего он хочет. В крайнем случае он им задолжает. С одной из молний у него будут близкие отношения, ладно?



И ему показалось, что он с одной из молний давно в легкомысленных отношениях, а любовница куда требовательнее, чем жена, и молния спросила у официанта:

— Где ты, сволочь, был до четырех утра?

И тусклый официант ответил ослепительной молнии:

— Знаешь, я задержался!

И мне, автору начинающих сказок, так хочется быть на свадьбе официанта с молнией, что я ему дам сейчас куда больше чаевых, чем я даю обычно.

Свадьба официанта с молнией!

Да это и есть искусство! Искусство — соединять несоединимое. Я лично не в силах сделать это сам, но ведь существует Союз советских писателей. Члены этого союза очень мне дороги, и я их очень люблю. Но иногда они так тесно толпятся, что мне, их любящему, приходится идти по обочине, чтобы не мешать им идти по главной дороге.

— Идите, милые, идите по главной дороге, а я пойду по тропинке, но это будет моя, мною протоптанная тропинка! И я дойду не к высотным зданиям, я подойду к избушке, где живут ведьмы и лешие. И потом я получу повестку на заседание, где меня будут осуждать за мое легкомысленное поведение. И я себе представляю это собрание. Какое бы ни было это собрание, мне кажется, что это собрание моего детства. А в детстве у меня были родители, чего у меня сейчас нет и никогда не будет.

И все равно я себе представляю, что идет собрание, где сидят самые, самые главные начальники и сидят мои родители. И мои родители тут же заболели манией величия, и они мною гордятся. И тут же начинают мною возмущаться. Я, еле добившийся возможности присутствовать в таком обществе, начинаю дерзить. Родители настолько огорчены, что



мне кажется, они умерли неестественной смертью, они побоялись, что я не понравлюсь начальникам. Я быстро похоронил родителей и вернулся на собрание. Убей меня бог, если я помню, какой начальник произносил какую речь, но я как автор обязан перейти к одному из героев моего повествования.

Бывают не только толстые и тонкие люди, бывают люди среднего веса. Людям среднего веса хочется быть одинаковыми по отношению к добру и злу, и слава богу, что они существуют. Они осуждают на собрании человека, совершившего худой поступок, они готовы с ним разделить подушку во время сна. Но во время собрания они готовы поддержать резолюцию, осуждающую человека, спящего с ним на одной подушке. Но ведь кроме подушки есть еще мебель. Есть стул, на котором сидел твой умерший друг, есть еще выцветшая фотография, на которой изображены люди, уже давно умершие, есть еще часы со старинными курантами, которые ты случайно купил в комиссионном магазине, и они отзванивают время, которое будет так же равнодушно к следующим поколениям. Я себе представляю сейчас комнату, где я живу в своем великолепном одиночестве, и где будет сидеть мой абсолютно невидимый мною правнук, и где будут так же тикать мои, приобретенные в комиссионном магазине, старинные часы и вспоминать обо мне, о том человеке, который когда-то был их современником.

Идут миллионы световых лет. Свет проходит триста тысяч километров в одну секунду, а нам кажется, что законы света не подчинены закону нашей жизни. И тут я, конечно, не вспомнил, я не могу это вспомнить, как какой-то молодой кадет танцевал с Наташей Ростовой в Дворянском собрании, сейчас это называется Колонный зал Дома союзов. Он танце-



вал с Наташей Ростовой, и ему казалось, что любовь — это бесконечность. Он медленно шел по улице, по московской улице, где еще был Охотный ряд, и думал: «Как я ее люблю!» Но она вообще не существовала. Она была выдумана Львом Николаевичем Толстым.

А мальчик, влюбленный в нее, уже давно похоронен, как глубокий старец на мне неизвестном кладбище.

И все равно, да здравствует Наташа Ростова и влюбленный в нее случайный мальчик, похороненный, как глубокий старец, на неизвестном мне кладбище!

И мальчику стало очень грустно. Но он был гордый, он не заплакал, вся природа заплакала, а не он, — шел дождь.

Мальчик был кадет, а ты — слесарь. Клянусь тебе честью, что, несмотря на разные социальные прослойки, ты будешь так же несчастлив, как он. Как бы ни был ясен небосвод, дожди будут. И мое самое главное желание — чтобы ты и все люди были счастливы даже во время дождей. Не было бы дождей, не было бы и радуги. Самая большая беда для хорошего художника, когда он рисует радугу во время дождя. Это вымышленная радуга. Ты рисуй радугу, только когда ее видишь, ты даже выдумывай радугу, если ее и нет на свете. Но радуга может стать назойливой, тогда выдумывай дождь. Но если нет ни радуги, ни дождя, тогда выдумывай то, чего нет на свете...

Романтика — это есть реализм, который нельзя купить в магазине. Ссоры в коммунальной квартире происходят не от романтики, а от реализма. Стоило бы этим озлобленным соседям только подумать о том, что у каждого человека есть своя долгая и душевная жизнь, то тогда бы ни один человек не подумал бы о том, что ему хочется жить в отдель-



ной квартире. Коммунизм — это желание приобрести соседей, это желание присоединить свое одиночество к одиночеству соседей. Как бы ни было многочисленно собрание, всегда оно оканчивается тем, что люди расходятся по местам, где они живут. Никакие фанфары торжественных собраний не заменят тебе твоего одиночества.

Грустящий домовладелец.

Девочка никогда не была на море. И вдруг ей показалось, что на морской глади возник лунный столб. Он был невероятный, этот столб, он был как граница между христианством и коммунизмом.

Частная капиталистическая яхта рассекала этот столб. Владелец этой яхты был лично знаком с замечательным сказочником Александром Грином. Он страдал бессонницей и избороздил все моря в поисках страны, где можно задешево покупать сны.

И девочка через многие морские мили крикнула капиталисту:

— Я вам отдаю свои сны бесплатно, у меня их так много!

А второй гривенник был очень разумный мальчик, он сразу же попал в детдом, там его воспитали, он стал инженером, потом судили за растрату, он сел и так и будет сидеть в тюрьме до конца этого моего повествования.

Нужно швыряться большими деньгами и уметь беречь маленькие. И тогда большие деньги становятся маленькими, а маленькие большими.



В искусстве обязательно должен наступить тот момент, когда золото начинает серебриться, и тогда оно становится еще дороже.

Строчки родились, дети выросли...

Теперь девочка увидела удивительное войско. Это не было войско, это не было ополчение 1812 года. Это было ополчение 1941 года.

Вооруженные винтовками, интеллигенты думали, что вооружены мушкетами, а против них шли танки.

Одним из еле выживших, но потом все равно умершим был восьмой гривенник.

Подснежники боялись показаться из-под снега, потому что они считали, что снег — это мачеха.

Официанта райпищеторга обязали быть официантом на Олимпе. «Им, богам, хорошо, — жаловался официант. — А меня-то трест послал на высоту по службе, а на высоте чавые дают облаками, а у меня двое детей...»

Чем хороша опасность? Тем, что от нее некуда деваться. Биография шестого гривенника.



Девочка стала фантазировать. Она приняла обыкновенную будку обходчика за волшебную, и, как это ни странно, будка оказалась действительно волшебной.

Кассирша, утомленная семейными дрязгами, взглянула на нее пьяными глазами, потому что и у пьянства и у горя глаза одинаковые.

— Девочка, я устала оттого, что все, буквально все приходят ко мне за звездами. Девочка, будь доброй, попроси у меня пылинку...

Девочка обнаглела:

— Дайте мне самую большую пылинку, какая у вас есть.

И тогда старая, утомленная кассирша, у которой плохие соседи и у которой всю ночь в ушах было трамвайное движение, выдала ей пылинку величиной с земной шар.

Девочка сказала:

— Пожалуйста, пригласите меня в гости.

И вот она пошла к ней в гости.

(Показать жизнь рядовой трудовой женщины. Малейшую трещинку в табуретке показать.)

Я оказался на старом кладбище, рядом с декабристами (Рылеев, Каховский, Бестужев, Пестель, Завалишин).

Я решил перестукиваться с соседними могилами. Мне стали отвечать мои друзья. Я услышал, что на кладбище идет перестук, как в Петропавловской крепости, потому что для революционера могила — это одиночка.

(Перестук поколений.)
Я перестукиваюсь,
Я еще живу!



— Господи боже мой! Обратись ко мне! — сказал горячо любивший жену атеист.

Мне хочется выдумывать, но не как фокусник, а то, что есть на самом деле. Мне хочется выдумывать сливочное масло, и я жалею, что оно уже есть. Мне хочется выдумывать домоуправление, которое мешает жить жильцам.

Безработный Альфонс Доде.

Облака, эти одеяла господа бога, укутывали землю, было очень тепло.

В жизни, как и в искусстве, лучше всего видишь полузакрытыми глазами.

Солдаты по стойке, поэты у стойки.

И золотые зубы выпадают.

Звезды не хотели идти к ней, потому что боялись обжечь ее, а планеты не подходили близко, потому что боялись, что ей будет холодно, так как они светят отраженным светом.

Тени были высокие, выше яблонь, и они думали, что это они приносят плоды.

И вдруг звезды показались ей покорными, и она сказала им:



— Подите ко мне!

И звезды пошли к ней, и никогда в астрономии звезды не были так близки к земле.

И тогда девочка, играя в скакалочку, на десять лет подпрыгнула вперед.

И миллионы лет проходят,
И секундочки бегут...

И вот какие-то дни, месяцы, недели
Отсчитывают вечность для меня...

Я жив, не кто-нибудь другой!

— Ты хочешь есть?

— Нет.

— И я не хочу. Давай закажем одно «хочу» на двоих...

Художник — это абсолютная мобилизация рядом с небрежностью.

И вот посредине снежной России идет медведь и несет на вытянутых лапах девочку. Мне хочется сказать — на руках, но у медведя нет рук, у него лапы.

Медведь шел по шпалам.

Все шпалы, шпалы, шпалы,

Все спало, спало, спало.



Но медведь не привык ходить по шпалам, и потому он скоро устал. Впереди горел огонек. И вдруг огонек погас, и тогда всей грудью задышала сказка...

КЗП

Клуб Заплаканных Палачей.

Член президиума КЗП.

Старый царский полтинник — член Клуба Заплаканных Палачей. Он казнил Софью Перовскую и Желябова, похожего на Евтушенко.

Пятьсот Софий Перовских проходят через проходную каждое утро и раз в месяц получают зарплату.

Бабочка-однодневка.

И часы, разведя руками, показали четверть десятого...

Я продолжаю писать эту сказку, я очень устал.

Я очень устал. (Отдельная фраза.)

Я так жалею, что эту самогонщицу Варвару Никифоровну придумал только в третьей главе. Как хорошо было бы, если бы она действительно существовала. Я бы у нее обязательно встретил участкового надзирателя Ивана Моисеевича Урядникова, который совершил столько преступлений,



столько заблуждений и не арестован только потому, что он является участником моего повествования. И мы с ним сели бы за стол, который уже четвертый век существует без четвертой ноги. Но моя коленная чашечка уже привыкла к ее отсутствию и приспособилась, как всякое живое существо.

И вот выдуманная мною Варвара Никифоровна вносит прелестные суточные щи. И щи загрузили оттого, что они суточные, им захотелось жить дольше.

Были бы у меня такие сны, с каким удовольствием я бы выпил!

Над Россией стояла луна.

Заря была очень похожа на русскую печь, в которой пекутся булки для ангелов.

Девочка похоронила бабочку и поставила муравья сторожить ее могилу.

— Я не хочу, чтобы ее тело растерзали дикие звери.

Зиму сменила весна, весну лето, муравей умер, не сходя с назначенного места.

Девочка идет к тете в Курск, она устала, она похоронила медведя и бабочку-однодневку. И тогда город со всеми домами, улицами, мостовыми пошел навстречу девочке. Булыжники тоже ушли навстречу девочке, и потому легко стало класть асфальт.

С правой стороны выскочил страдающий бессонницей заяц, с любовью поглядел на девочку и сказал:



— Ничего не бойся, девочка, во мне ты всегда найдешь верного защитника.

Стрекоза, усевшаяся на ее блузочке, между третьей и четвертой пуговицей, ничего не сказала, она от рождения была глухонемой.

Ночь была очень торжественна, девочка шла и шла, и луна возвышалась над нею, как старая вдовствующая императрица, которая все еще мечтает выйти замуж за какого-нибудь короля.

Шаги истории медленны, а мальчик бежит впереди...
Герцен и Огарев клянутся на Воробьевых горах, —
Ленин — шаги истории медленны, а мальчик бежит впереди...
Строчки родились, стали детьми...

Стали пенсионерами мы с тобой,
Стали очень медленно спорить с судьбой...

В моих желаниях ты первую была,
Ты у меня их силой отняла.

Я извиняюсь, — я открыл окно!

Для начинающего поэта рифма — графиня, а для зрелого поэта — служанка.

Вечность не переспоришь...

Сколько хочешь, столько будем ехать...



И вот я умер. Чем бы мне заняться?

И звезды, как свидетели скандалов,
Так не хотят идти в народный суд.

Идет старик. А девочка полна сказки, полна мечтаний.
— Слушай, старик, ты когда-нибудь был мальчиком?
— Не помню, — угрюмо ответил старик.
— А ты помнишь девочку, которую ты любил?
— Давно это было.
— Куда ты идешь?
— Я иду за пенсией.

Стали мы очень быстрыми в сплетнях
И очень медленно спорим с судьбой...

Горя нет,
Слезы остался след.

...почта

И увидишь ты
Ту единственную почву,
Где растут цветы.

Она была такая милая, что ей с первого взгляда хотелось
писать письма.

Над ним даже звезды как тяжелые шторы висят.



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В книге «Беседует поэт» впервые собраны высказывания Михаила Светлова о поэзии, литературе, искусстве. Как известно, поэт не любил писать «глубокомысленные» проблемные статьи, почти всегда предпочитал форму живой, непосредственной, по-светловски доверительной беседы с читателем.

Известно, что каждое выступление М. А. Светлова, будь то стихотворение, рецензия, разговор, оставляло незабываемое впечатление. Безупречный вкус, тонкость наблюдений, лапидарность, доброжелательность — всем этим отмечен и настоящий сборник.

В книгу включены работы различных литературно-критических жанров: статьи, рецензии, «поэтические» письма, послания друзьям, воспоминания, очерки, заметки, наброски, «короткие мысли». Часть этих работ была в разное время опубликована в периодической прессе, в газетах, журналах, часть — впервые публикуется в этой книге. Это заметки: «Несколько моих слов о Валентине Катаеве», «Юбилей поэта», «Струна» Беллы Ахмадулиной», «Лирическая погода», «О Ксении Некрасовой», «Паспорт поколения», «Письмо тов. N», «В поисках правды», «О фильме «Молодая гвардия», «Взрослые сказки», «Наброски к «Взрослым сказкам» и др.

Книга эта обогащает наши представления о Светлове — поэте, критике, воспитателе молодых поэтов, человеке. В читательский критический и научный обиход войдет много новых интересных материалов. К примеру, в начале 30-х годов был опубликован стихотворный роман Григория Санникова «В гостях у египтян». Он вызвал оживленные споры. С восторженной статьей-рецензией об этом ро-



мане и о путях развития советского эпоса выступил Андрей Белый. Мало кто сейчас помнит, что ответная полемическая статья принадлежала Михаилу Светлову и Эдуарду Багрицкому, — она была напечатана в «Литературной газете» 17 марта 1933 года, то есть около трети века тому назад. Но читается она сегодня с большим и непосредственным интересом.

Или «Взрослые сказки» — неоконченное произведение Светлова, казалось бы не имеющее прямого отношения к высказываниям о литературе. Но здесь перед нами как бы раскрывается творческий процесс, процесс рождения талантливого произведения, показано, как возникает замысел, формируется материал. Содержание сказки способно пробудить самостоятельную работу мысли.

В книгу вошли заметки дневникового порядка, записные книжки, афоризмы, высказывания, большая часть которых публикуется впервые, — они в этой книге вынесены как бы на «поля».

Сборник «Беседует поэт» включает материалы разных лет, здесь мы видим и заметку о творчестве А. Безыменского, написанную в 1929 году и содержащую критику только что прочитанного тогда стихотворения, и статьи, посвященные комсомолу, молодому послевоенному поколению поэтов. К сожалению, ряд материалов вообще не был датирован Светловым — это целый ряд писем начинающим авторам, короткие мысли, небольшие рецензии.

Большой интерес представляют стенографические записи бесед («Беседует Михаил Светлов») и выступлений М. А. Светлова на обсуждениях стихотворений тогда начинающих поэтов («О стихах Б. Ручьева» и др.), его напутствия молодым поэтам, его переписка с ними. Впрочем, за что ни возьмись, во всем ярко отразилась личность автора, его передовое мировоззрение, гуманизм, неуязвимая молодость души, неповторимый светловский юмор.

Редакция приносит благодарность за помощь, оказанную ей при работе над сборником, Родам Амирреджиби и сыну поэта А. М. Светлову.



СО Д Е Р Ж А Н И Е

«У каждого человека есть мечта...»	5
Источник волшебства	5
Спутники сердца	9
Парень из нашего города	17
История одного стихотворения	28
Что меня побудило написать «Гренаду»	37
Заметки о моей жизни	39
Критический случай с Андреем Белым	45
Маяковское путешествие	51
Эдуард Багрицкий	54
Вершина поэзии	58
Отрывки из воспоминаний	59
Слово поэта	66
Вдохновенный труд	68
Несколько моих слов о Валентине Катаеве	71
Спасибо поэту!	72
Для народа	77
Юбилей поэта	81
Народ и его поэты	84
Сердце раскроется красоте	89
От всего сердца	97
С дальним прицелом	100



О трех поэтах	109
Лирическая погода	116
Горячие строки	117
Живой голос поэта	120
О Ксении Некрасовой	123
Чувство размаха	124
Мы, как знамя, поднимем песню	126
Паспорт поколения	132
Мои мысли о Пушкине	140
Поэт — гражданин!	141
«Струна» Беллы Ахмадулиной	147
Первая книга молодого поэта	150
Еще один огонек...	155
О стихах Б. Ручьева	157
Чужой недостаток — не твое достоинство	160
Я — за улыбку!	163
Беседует поэт Светлов	164
Разговор с молодым поэтом	180
Мало красок — мало взыскательности	184
В открытое море!	187
Письмо тов. N	191
В поисках правды	196
Доверие к художественности	198
О фильме «Молодая гвардия»	202
«Самый большой соблазн...»	205
Взрослые сказки	207
Наброски к «Взрослым сказкам»	215



Светлов Михаил Аркадьевич

БЕСЕДУЕТ ПОЭТ

М., «Советский писатель», 1968, 232 стр.
Тем. план выпуска 1967 г. № 366

Редактор *Е. И. Изюродина*
Худож. редактор *К. М. Бузов*
Техн. редактор *Р. Я. Соколова*
Корректор *Л. А. Матасова*

Сдано в набор 1/VII 1967 г.
Подписано к печати 12/VI 1968 г.
А 05392 Бумага 60×70^{1/16}. № 1
Печ. л. 14^{1/2}+1 вкл. (11,4). Уч.-изд. л. 8,87
Тираж 20 000 экз. Заказ № 261
Цена 62 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнездинковский пер., 10

Тульская типография
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

